Ольга Маркова

КЛИКУН-КАМЕНЬ

СЕРИЯ
"ОРЛЕНОК"

SHOUT
SHARE
IT

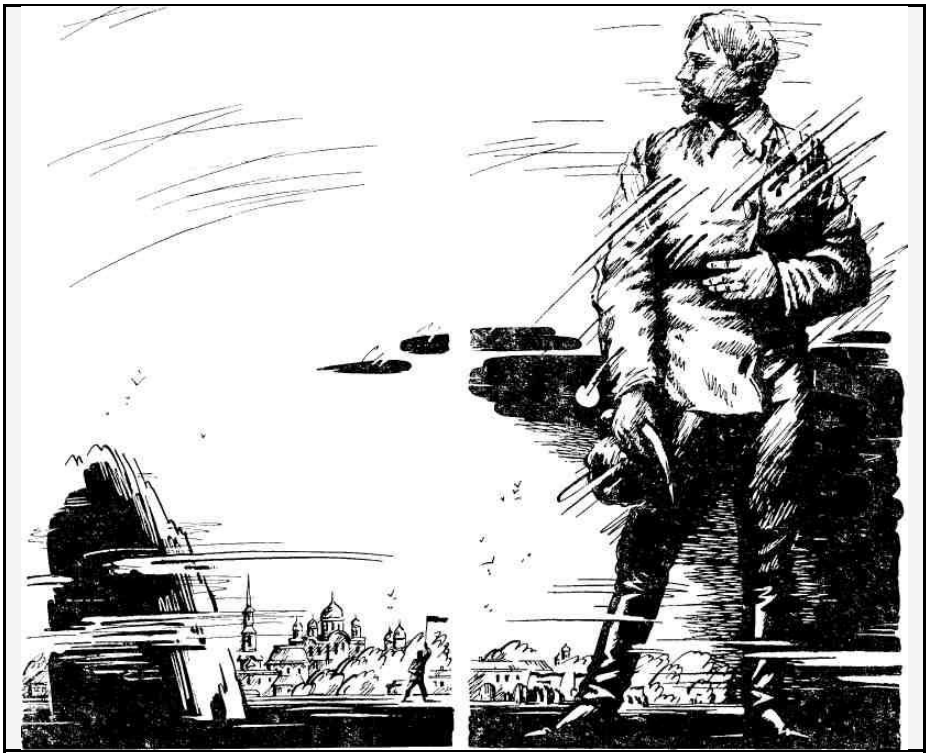
Annotation

Повесть уральской писательницы посвящена героической жизни профессионального революционера-большевика, одного из руководителей борьбы за Советскую власть на Урале, члена Уральского обкома РСДРП(б), комиссара Златоусто-Челябинского фронта И. М. Малышева. Его именем названа одна из улиц Свердловска, в центре города поставлен памятник, на месте гибели и окрестностях Златоуста воздвигнут обелиск.

- Кликун-Камень
  -
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
  - XX
  - XXI
  - XXII
  - XXIII
  - XXIV
  - XXV
  - XXVI
  - XXVII
  - XXVIII
  - XXIX
  - XXX
- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11

Кликун-Камень



В ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТЬ ПОГИБ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ МАЛЫШЕВ, НО ЕГО ИМЯ ПРОЧНО ВПИСАНО В СТРАНИЦЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА УРАЛЕ. В СВЕРДЛОВСКЕ ОДНА ИЗ УЛИЦ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НОСИТ ИМЯ МАЛЫШЕВА, НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ НА СТАНЦИИ ТУНДУШ ПОСТАВЛЕН МОНУМЕНТ. КНИГА ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ОЛЬГИ МАРКОВОЙ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК СЫН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОЗЧИКА, ОБЫКНОВЕННЫЙ ПАРЕНЕК, КАКИХ КРУГОМ БЫЛО МНОЖЕСТВО, ПОНИМАЛ ДОБРО И ЗЛО, КАК ФОРМИРОВАЛИСЬ В НЕМ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ, И О САМОМ ПУТИ ОТ РЯДОВОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА ДО АКТИВИСТА-ОРГАНИЗАТОРА, ЧЛЕНА УРАЛЬСКОГО ОБКОМА РСДРП(б), КОМИССАРА ЗЛАТОУСТО-ЧЕЛЯБИНСКОГО ФРОНТА.

Ольга Маркова

КЛИКУН-КАМЕНЬ

СЕРИЯ
'ОРЛЕНОК'

Челябинск
Южно-Уральское
книжное издательство
1989

I

Отец приказал не пускать богомольцев на постой, держать калитку на запоре, не откликаться, если раздастся стук в окно, не выглядывать.

Дом стоял на пригорке, у самого тракта. Стучали в окно часто.

Иван не понимал, есть ли плохое в том, что люди тысячами стекались в Верхотурье. Даже на него, тринадцатилетнего мальчишку, они глядели с мольбой и печалью, как будто пришли сюда просить о помощи не бога и не Симеона Чудотворца, а его, Ваню Малышева, сына железнодорожного возчика.

По утрам, когда падал зазывающий звон с колоколен и богомольцы шли по улицам к монастырю, отец запрягал мохноногого Рыжика в большую телегу, чтобы ехать к железнодорожной станции собирать шлак и мусор около депо и увозить его на свалку.

Мать всякий раз ворчала:

— Хоть бы лоб перекрестил…

Михаил Васильевич хмуро продолжал свое дело. Иногда огрызался:

— Я много лет лоб-то крещу, все телегу на железном ходу выпрашиваю… Как перетрется деревянная ось, я опять глаза к небу, опять жду… А бог-то за мои кресты даже плетеного коробка не отвалил… И не вздумай богомольцев на квартиру пустить — выгоню! От бездельной жизни сюда таскаются.

Но когда освобождались из тюрьмы заключенные и шли по тракту к станции, отец выходил на улицу, заговаривал с ними, мать пекла свежий хлеб, варила большой котел щей.

От освобожденных можно узнать много интересного: за что попал в тюрьму, сурово ли держали там, как думает каждый жить?

Вот и в этот весенний день отец зазвал одного такого в дом, усадил за стол. Босые красные ступни гостя покрыты струпьями и грязью, почти посинели от холода. У него вдавленный лоб и круглые глаза. Широкий насмешливый рот скрадывал неприглядные черты.

Отец подкладывал ему куски, жаловался на то, что телега у него на деревянном ходу.

— Много не заработать тебе на деревянном-то, — соглашался гость.

— Каждый день — пять верст до станции да пять верст обратно… — все более мрачнея, говорил отец. — Вот за прошлый

месяц я что купил? Мешок овса, сапоги вот сыну… На жизнь-то осталось всего ничего…

— Да-а, плохи заработки!.. Зато богатеи живут!

— А ты за что сидел-то? — допытывался отец.

— А вот за то и сидел… Из Златоуста я. Слыхал про нас? В марте еще прокатка забастовала, а потом и весь завод. Жить нам совсем уж стало плохо… Уж так плохо, не приведи бог! Уполномоченных к хозяину послали, а их арестовали… Ну, мы, конечно, и потребовали их освободить. Так ведь отказали! Тогда тюрьму чуть не разнесли, потому что зазря людей туда бросили! Полицейское управление осадили… Уфимский губернатор, Богданович фамилия, пообещал нас выслушать на другое утро. Обрадовались мы, думали, что теперь уж товарищей вызволим! А пришли, губернатор приказал в нас стрелять! Ох, и положили головушек! Человек семьдесят. И дети! И бабы!

Отец побледнел.

Мать вздохнула и прошептала Ивану:

— Шел бы ты, Ванюша, на улицу погулял!

Она не позволяла сыну слушать такие разговоры.

Фыркал, отдувался в стойле Рыжик, глядя ореховым глазом на Ивана.

Они друзья. Зимой мальчик устилал стойло соломой, покрывал рваным байковым одеялом спину Рыжика; летом часто купал лошадь в реке, сидя верхом на ее твердой красной спине. Рыжик осторожно входил в прохладную воду. Слыша, как ездок взвизгивает. Рыжик все бережливее уносил его вглубь. Обратно же несся, шумно разбивая грудью реку. На берегу стряхивал с себя остатки воды, обдавая маленького хозяина блестящими брызгами.

В глазах Рыжика было веселое озорство.

…Сейчас, увидев Ваню во дворе, Рыжик втянул в себя теплый воздух.

— Все понимаешь!

Весна. Лес за огородами дышал утренним светом, свежестью; небо легкое, пушистое. Нарастала воробьиная возня. Давно пора прилететь скворцам, а они где-то медлили. Шершавый скот, обессилевший за зиму, слонялся по дорогам.

С завалины под окном слышно каждое слово, сказанное в избе.

— Меня-то за что посадили? — говорил гость сиплым, простуженным голосом. — За «Искру»…

— Что же, не ту зажег? — спросил Михаил Васильевич.

— Не тому читать ее дал… Знаешь, как ее читают? Ленин ведь ее пишет, вот и не любо кое-кому…

Имя заинтересовало Ивана. Он хотел знать, что это за «Искра», кто такой Ленин, почему за «Искру» садят в тюрьму.

— Анна, не припрятан ли у тебя какой старый пиджачишко или штаны?.. Одеть бы человека… — попросил отец.

Штаны, рубашка или пиджак всегда находились. Мать копила старье, случалось, покупала его на рынке, чтобы помочь таким вот нечаянным гостям.

Гость в избе переодевался, довольно покашливал. Голос его повеселел:

— Может, на ноги что-нибудь найдется, люди добрые? Без обуви я…

Иван поглядел на свои ноги, обутые в новые «на вырост» сапоги. Их недавно привез отец и шутливо сказал:

— На дороге у зайца отнял…

Раньше часто он привозил сыну «заячьи гостинцы», но таких еще не было… А идти арестанту далеко, тяжело босиком. Может, и ночевать придется под небом, не согреться… Чтобы купить эти сапоги, отец каждый день собирал и возил шлак.

Как бы ни возражал себе Иван, ноги арестанта, босые, покрытые струпьями, стояли перед глазами. «Собьет их совсем… болеть начнут, а в тюрьме и без того настрадался…»

Когда Ваня вбежал в избу и протянул сапоги гостю, тот обрадовался:

— Как по мерке! Вот спасибо… Теперь я до дома доберусь. — Легко надел сапоги, притопнул, почему-то поглядел на себя в стертое зеркало, погладил впалые щеки.

Бросив взгляд на родителей, Иван понял, что поступил неправильно: брови отца тяжело нависли двумя взъерошенными кустиками.

Когда политический ушел, отец с обидой спросил:

— А сам в чем ходить будешь? Босиком, лето пришло.

— А осенью? Сапоги-то я тебе купил с запасом, на три года должно было хватить… Ничему же ты цены не знаешь.

За сына заступилась мать.

— Сам заработает. Купим.

Иван после окончания городского училища служил писцом в военном присутствии, приносил в дом деньги и гордился этим.

Отец уважал мать и часто называл ее полным именем — Анна Андреевна. Она — тихая, говорила мало и все вышивала, тоже зарабатывая этим. Отец больше не упрекал сына. Сидя у окна, он думал о чем-то сосредоточенно и упорно.

С улицы несся разноголосый благовест.

— Поет Верхотурье на все голоса! — умиленно прошептала мать.

Иван знал, что говорит это она, отвлекая отца от гнева.

Он и сам робко спросил, чтоб только предотвратить ссору:

— А почему наш город Верхотурьем называется?

Отец удивленно вскинул брови, сухо ответил:

— В верховине реки Туры вырос… — и продолжал, смягчаясь — Раньше здесь вогулы жили, и город назывался Нером-Кар, потому и речка, что впадает в Туру недалеко от города, Неромка называется.

Сколько былей скрывал отец в своих усах! Он любил рассказывать их: и скоро забыл о сапогах.

Прямые немощеные улицы сбегали с пригорков к центру. Неплотные кварталы разбивались пустырями; домишки небогатые, деревянные. Только центральную площадь окружали большие храмы и монастырь, да на окраине городка широко раскинулось белое здание каменной тюрьмы.

Далеко, за крутым изгибом реки, стоял Камень-Кликун. Говорили, что Камень тот разговаривал всякими голосами, и все подозревали, что в нем чертова сила, и боялись его.

Темные, как тени, монахини в клобуках скользили по улицам.

Степенно двигались к монастырю старцы.

Солнце утонуло в реке, вызолотило ее до дна. Мальчик лег на берегу, достал из кармана книгу, которую начал читать несколько дней назад, и порадовался тому, что еще немало страниц осталось до конца.

Книги ему привозила сестра. Мать ворчала:

— Только и толмишь стишки! А эта вон какая толстая книжка! С ума сойдешь, в голове все перепутается. С товарищами раздружился. Раньше, бывало, и в бабки играл, и змея пускал. Побегай на улице.

Иван представил, как это он побежит по улице, и рассмеялся. С товарищами неинтересно, они маленькие. И напрасно беспокоилась мать, что у него все перепутается в голове. Он помнил и читал наизусть целые страницы, например:

> «Наше дело свято и справедливо и не умрет с нами. Путь к победе ведет по крови: только благодаря самоотвержению и жертвам торжествуют великие идеи. Мужественная и почетная смерть лучше постыдной и гнусной жизни. Погибнув, мы оставим нашим потомкам окрашенное нашей кровью наследство мести и победы, знамя свободы и равенства. Братья, не отступать ни на шаг! Победа или смерть!»…

Это из «Спартака».

Иван видел себя отважным гладиатором. Это он увлекает за собой боевые полки и кричит: «Победа или смерть!»

То видел он себя Тарасом или Остапом Бульбой. А что? Он сможет храбро бороться и умереть за правое дело, если придется.

Книга «Тарас Бульба» подарила ему не один час счастья и горя: смерть Тараса и Остапа, и даже Андрея, казалось, обрекла его на вечные страдания.

После смерти Бульбы невозможно было разговаривать или думать о мелких житейских делах. «Хоть бы кто-нибудь остался в живых!» — подумал, прочтя книжку, Иван и сказал матери:

— Мама, а Остап Бульба жив остался! Совсем у смерти был, но Тарас спас его!

Анна Андреевна лукаво улыбнулась:

— Ну и слава богу! Только помнится мне, что не остался он в живых… Читала я эту книгу.

— Остался! Ты забыла!

Мать в ласковой печали пригладила его волосы.

По улице мимо окон вели группу арестантов. Звенели кандалы.

— О господи, прости мои прегрешения! — вздохнула Анна Андреевна.

Какие у нее прегрешения? Ивану хотелось спросить об этом, но глаза матери, вдруг ставшие сухими, горящими, испугали его.

Испугал и шепот:

— Бог, ты видишь?

Припомнив это сейчас, Иван шепотом спросил:

— Видишь или не видишь, бог?

…Ночью раздался в окно дробный веселый стук.

— Маша приехала!

Враз все поднялись, засуетились. Маша, сестра Ивана, учительствовала в церковно-приходской школе недалеко от Надеждинска. Она приехала на каникулы. Озорно оглядела брата и протянула:

— У-у, как же ты вытянулся, Ванюша! Да тебе ведь ныне тринадцать! А ноги-то, ноги почему в ссадинах?

Отец пробурчал:

— Доброту свою тешит. Арестанту босому сапоги отдал.

Маша. Румяное лицо, густые ресницы. От ее волос Ивану не хотелось оторвать взгляда: они так бурно вились, что их трудно было плести в косу. Налитые губы всегда готовы к улыбке. Говорили, что Иван похож на сестру, но он этому не верил: уж очень сестра была красива.

Маша привозила в дом покой, мир и новые песни. Они были

печальные, длинные — о тяжелой жизни, о притеснениях и изменах. Иван слушал не дыша, А в голове проносилось: «Что бы такое сделать, чтобы всем жилось легко, чтобы никто никого не боялся».

Он немедленно усваивал напев любой песни, его голос выделялся среди других.

— Прямо соловей… — часто вздыхал отец, удивленно разглядывая сына.

Сестра с матерью под песни рукодельничали.

Верхотурье славилось рукодельницами. В женском монастыре держали даже специальную школу. Вышивка матери ложилась на полотно неожиданными и интересными сказками: то красавица русалка заманивала в волны молодого ухаря, то леший, сидя на суку большого дерева, лукаво следил за монашкой.

Сегодня, как только отец уехал на работу, Анна Андреевна впустила в дом богомолку.

Молодая, чернобровая, с рябым скорбным лицом женщина спросила, не найдется ли угла на неделю, дешевого.

Анна Андреевна замотала головой:

— Нельзя, милка моя! Сам-то у меня богомольцев не любит!

— Что нас не любить? Не от радости на богомолье идем… У меня вот муж пьет… Чем попало хлещет. Живого места нет… все изрешечено. Раз пять я в мертвых была. Вот и пришла поклониться заступнику. Святой, думаю, воды принесу в туесочке, напою мужика тихонько, может, опамятуется… А не то… слыхала я, здесь камень говорливый есть… нечистая сила в нем с монастырской борется… Святой Симеон не поможет — к камню пойду…

Мать всхлопнула руками:

— Грех-то!

— А мне уж все равно! — всхлипнула богомолка. — Только, говорят, ночью к камню тому пробираться надо… и одному. Страшно…

«Камень-Кликун! Сколько о нем разговору! Обязательно я должен пойти к Кликуну ночью, проверить, так ли все, как болтают», — пронеслось в голове Ивана.

Маша оторвалась от вышивки, тронула его за плечо:

— Пойдем-ка, Ванюша, на волю…

Гряды в огороде были недавно вскопаны и засажены. По черным бороздам прыгали галки. У прясел голые рядки малины. Только на тополе, который стоял у бани, лопались рыжие почки, да трава под ним уже проклюнула землю.

Маша недовольно проворчала:

— В Кликуне «нечистая сила»! Наговорят семь верст за

околицу… — помолчав, тихонько затянула:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль…

Иван лежал рядом, вперив в небо глаза, так бы и слушал, и слушал Машу. Но она оборвала песню, задумчиво сказала:

— Ко мне ученичку приводят домой, она глухонемая…

— Как же ты ее учишь?

— А вот так, — Маша быстро начала выделывать пальцами какие-то выкрутасы, соединяла их, опускала, тыкала ими, указывая себе на глаза, на нос, на брови, на рот. Иван с удивлением следил за ней.

— Ну, и что это?

— Это я сказала тебе, что небо сегодня очень красивое!

— А как ты научилась так говорить?

— Мать девочки меня научила.

— А я смогу?

К ужину они опоздали. За столом, время от времени колдуя пальцами, молча смеялись.

Анна Андреевна испуганно следила за ними, Михаил Васильевич сказал:

— Я вот возьму ремень, допредставляетесь, артисты полоумные!

Они прыснули, но немой разговор прекратили.

После ужина Иван тихо выскользнул из избы. В сенях натолкнулся на сестру. Та подозрительно оглядела его:

— Далеко ли собрался?

Маша добрая. В ее глазах всегда искрится смех. Ей можно доверить любую тайну — не выдаст.

— К Кликуну…

— Не боишься?

— Боюсь… Богомолка сказала: надо одному идти. Ты, Маша, не говори никому.

— Не скажу.

Их дом по левую сторону Туры. Маленькие речонки — Калачик, Свияга, Дарнейка — делят город на три части. Вот эта — Городская. В ней крепость с собором; Ямская и Заречная — на том берегу Туры. Левый берег утыкан нагими утесами. Один Троицкий Камень высотой в двенадцать сажен. Улицы не освещены. Только в редких домах желтеют огни.

Днем не чувствуешь, как живут люди в чужих домах. А вот ночью сразу представляешь жизнь под этими огнями и почему-то обязательно горе людей. Так бы и захватил всех с собой к Камню-

Кликуну, чтобы узнали, когда же придет счастье.

Тепло, босые ноги не мерзнут. Осталось пройти пустырь, заросший репейником и крапивой. Здесь ночь полна запахов. Спящие ягнята теснятся на узкой тропе. Уже слышен плеск воды. Кликун выступает на белесом небе темной глыбой. От него идет неясный шум.

Иван присел на сухую землю неподалеку и сразу же вздрогнул от отчетливого и очень близкого звона: «Дзинь!» Так звенят кандалы на заключенных, когда тех ведут на работу в монастырь и обратно в тюрьму.

Вот послышалось шлепанье многих ног, чей-то вздох:

— Покурить ба…

И громкий окрик:

— Замолчать!

И снова топанье ног по дороге и равномерное и частое: «Дзинь! Дзинь!»

Иван до боли в глазах глядел в темноту: сейчас пойдут и пойдут из каменной глыбы арестанты. Но Камень стоял недвижимой гранитной стеной.

Снова громкие шорохи. Женский нежный голос произнес в темноте:

— Грешница я, Федя… Приехала Симеону Праведному поклониться, а так грешу!

И легкий ответ:

— Симеон Праведный небось тоже грешил…

— Ой, что ты!

— А ты не знала?

— Да куда ты меня ведешь?!

— От глазу подальше! Эх, зазноба!

Ясные шаги перебила одинокая песня:

По тебе ли, степь, вихри мечутся?
На тебе ль орлы по пескам живут?

Песня была так хороша, что Иван замер: вот сейчас голос продолжит ее, и случится чудо. После такой песни обязательно случится чудо.

Но не в песне прозвучал тот же мужской голос, а в отвратительной брани; и снова шаги, шаги шлепали по дороге и стихали.

Прогромыхала телега, раздался удар кнута и унылый оклик возницы:

— Но-о, сонная!

Звуки неслись именно от Камня: город был за версту, ближе

не проходила никакая дорога. Камень пугал тайной, его далеко обходили и объезжали. Снова он выбросил злобную брань:

— У тебя хайло-то горит, так заливай его сивухой, а не греми.

Нежно и совсем близко прозвенели часы.

«Как есть с колокольни храма Николая Чудотворца», — подумал мальчик, поднялся, крадучись, прошел в долину по другую сторону Камня и долго сидел, ожидая. Здесь Кликун молчал, не изрыгал ни голосов, ни шагов, ни песен. И снова Иван обогнул камень и сел, слушая город. Лучше слушать зажмурившись. Кажется, не одни городские звуки исторгает Камень, а жизнь всех людей на земле, так много их, и так разнообразны были они. Осторожные шаги слышались за спиной, отчетливые, легкие. Казалось, рядом кто-то остановился, затих. Иван приник к земле, боясь шелохнуться.

Камень заговорил снова. Не заговорил, а нестройно загорланил песню в несколько голосов. Забренчала балалайка.

Только этот шум начал затихать, как тихий, проникновенный мужской голос произнес:

— Так верую, так верую я, что видит господь бог муку нашу и поможет нам! — И отчаянно выкрикнул: — Кто-то же должен помочь нам!

Раздался истошный женский крик:

— Спасите!

Звуки ударов, стоны, визг, мольба, полная отчаяния и боли:

— Помогите, люди! Ох, не бей, Климушка! Не бе-ей!

Камень кричал, взывал о помощи, пел. Камень жил страшной жизнью, вещал и смеялся.

Иван, собравшись с силами, вскочил и бросился по тропе к городу. Он слышал за спиной шаги, будто гнался за ним кто-то, пытаясь схватить. А Камень продолжал стонать и хохотать, казалось, он корчился от злобы на человеческую жизнь, дразнил и пугал.

За поворотом дороги Иван словно провалился в тишину ночного города, и это было так же страшно, и он упал.

Кто-то легко пробежал мимо.

Рассвело, когда мальчик вернулся домой. В сенях его опять встретила Маша.

— Был?

Иван, продолжая дрожать, ткнулся ей в грудь. Она тихо провела его в чулан с маленьким окном, выходящим в кухню, где Иван спал, уложила в постель. Он поймал ее руки и, задыхаясь, спросил.

— Что же это, Маша? Где же в Камне люди? Голоса, драки,

убийства… все в нем есть…

— Отражает… Резонанс называется… Я тебе когда-нибудь расскажу… А для чего ты пошел?

— Надо же понять! — выкрикнул мальчик и смолк, увидя репей на подоле платья у Маши. Сестра, проследив его взгляд, оборвала репей и улыбнулась.

Не успел уснуть Иван, как отец начал собираться на работу. Женщины звенели посудой в кухне, готовя завтрак, тихо переговаривались. Услышал Иван, как Маша произнесла:

— Ванюшку учить надо: умный растет…

— На какие вши? — прозвучал угрюмый вопрос отца.

— Все равно — надо. Пытливый он. Помогу же!

— Смышленый, — согласился отец. — Только уж больно сердобольный. Доброта его и погубит. Тебя выучили и — ладно. А он пусть семье помогает. Он уже сейчас восемь рублей в дом приносит, шутка ли?

Иван вышел из чулана. Мать, стоявшая у печки, с доброй улыбкой притянула сына к себе, пригладила на его лбу кучерявый вихорок.

Мальчик сказал упрямо:

— Все равно уеду учиться…. Я все должен узнать…

II

Осенняя слякоть и мокрядь не мешали бродить по городу. Пермь с ее Камой в высоких крутых берегах, с баржами, с запахом пеньки и смолы нравилась Ивану.

Во все стороны то вниз, то вверх уходили улицы, мостик через реку Иву гудел под ногами, как колокол. По косогору развернулись одноэтажные деревянные дома с палисадниками.

По сырым размокшим тропкам Иван ушел к Мотовилихе: ему нужно узнать город.

Накатила на Ивана волна тоски по Верхотурью, по дому, по матери. Он забрался в лес, потом к шумному порту, на Каму. Черная вода все эти дни гневно плескалась, белея гребнями волн. По утрам у берегов уже лежала белая корочка льда.

А люди здесь так же глядели просяще и обвиняюще, как в Верхотурье, как будто и они чего-то ждали от Ивана.

По утрам мальчика встречали белошвейки, одна — бледнолицая, чахоточного вида, другая — румяная хохотушка. Эта всякий раз смеялась при виде мальчика, подтыкала локтем подругу. Иван краснел, отворачивался.

Поздно возвращался Иван на квартиру к старому бобылю-учителю, который сдавал ему маленькую комнатенку. Остальные две комнатки — спальня учителя и столовая, она же и кабинет — тоже были маленькие, как клетушки.

Окна покосились, скрипел изношенный пол, мебель обветшала и тоже скрипела. Время вывело на ней глубокие узорчатые канавки.

Учитель всегда встречал мальчика приветливо: радовался, что в доме теперь есть человек.

Высокий, седой, он то и дело потирал выпуклый, ребристый лоб или собранный в мелкие складки рот.

В этот вечер учитель, сидяо кор на кухне, стряпал пельмени. На нем был полосатый красный фартук, на коленях стоялыто с рубленым мясом.

— Нагулялся? Садись помогать. Сегодня у меня праздник!

Не решаясь спросить, какой праздник, Иван вымыл руки, сел и начал скать сочни для пельменей. Кирилл Петрович без умолку говорил:

— Пельмень — на языке коми — хлебное ухо. Точно подмечено, правда? Значит, знакомишься с городом? Хорошо. Любознательность в человеке — отменное качество…

Иван уже понял, что учитель одинок, несчастен, поэтому говорит много и долго, и слушал его с жалостным вниманием.

— Сегодня к нам в гости придет одна женщина необыкновенной душевной красоты, Надежда Васильевна… Наденька… — голос Кирилла Петровича молодо зазвенел, лицо покрылось розовым налетом, восторженно заблестели глаза.

Иван уже знал, что Наденька — это купеческая дочь, насильно выданная замуж.

— Несколько раз, мальчик, собирался я уехать отсюда, но дурно живет Наденька… Пьет ее муж, иногда и рукам дает волю… Нельзя оставлять ее…

Столько было муки в голосе учителя, что Ивану хотелось что-то сделать для него, утешить, помочь.

Наденька опаздывала. Кирилл Петрович рассеянно прошептал, разжигая очаг:

— Неужели опять он буянит?

Желая его отвлечь, Иван тихонько затянул, прислонившись к косяку:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль…

Кирилл Петрович неожиданно подхватил:

Колодников звонкие цепи
Взметают холодную пыль…

И выкрикнул:

— Оказывается, мы поем, молодой человек! Вот Наденька обрадуется!

— А я думал, что эту песню только сестра моя знает… — задумчиво произнес Иван.

— Нет, мальчик, эти стихи написал Толстой Алексей Константинович лет тридцать назад, напечатаны они в «Вестнике Европы», и знают их многие.

Наденька не пришла. Пельмени ели одни в унылом молчании.

Стены столовой были завешаны репродукциями.

— Крамской! Поэт печали! А вот это Репин, «Бурлаки», — неожиданно заговорил учитель. — Писано здесь, около Перми. Это не картина, а крик! — Кирилл Петрович иногда говорил странно и непонятно. Иван думал, что на учителя «находило». — А вот Пукирев — «Неравный брак». Смотри, как невеста заплакана, как стар и злобен ее нареченный, а сзади, видишь — это тот, кто ее любит, и кого любит она… — голос учителя начал

дрожать, прерываться. Пукирев был любимым художником Кирилла Петровича. Он подолгу стоял перед репродукцией и тяжело о чем-то думал.

Так же неожиданно учитель смолк.

Перед сном Иван подумал: «Почему же не пришла Наденька? Наверное, красивая, ясноглазая, как Маша…» Он рассмеялся, потеребил нежный, чуть пробивающийся пушок над верхней губой. «Наденька с черными волосами и с голубой лентой на голове, как Джемма в «Оводе»…»

Утром рано Кирилл Петрович куда-то исчез. День был воскресный, слышался благовест. Свежестью и белизной веяло от окон. На улице косыми полосами падал снег.

Иван весело вскочил с постели, оделся, намереваясь бежать к Каме, но, как всегда, в столовой остановился перед книжными полками. Хорошо бы прочитать все книги! Но почему часто в книгах герои страдают безвинно, гибнут, кончают самоубийством, и так мало бывает на страницах книг счастья!

Иван достал потрепанную книгу, и тихая радость овладела им: «Овод»!

Быстро вошел Кирилл Петрович, румяный, оживленный.

— Пожаловала матушка стужица! А ты интересуешься «Оводом»?

— Я читал эту книгу. Сейчас просто вспоминаю…

— Так вот: Наденька к нам вчера не пришла потому, что полицией были оцеплены улицы: снова забастовала Мотовилиха. И Наденька не могла пройти. Я ее в церкви подкараулил… Мы с ней часто встречаемся в церкви, — сообщил Кирилл Петрович.

— Почему же забастовала Мотовилиха?

— Э-э, мальчик мой, она ото всего может забастовать… Кризис… Знаешь, что это такое? Кризис всю промышленность в России сжал клещами, не одну Мотовилиху! Безработица! Заводы закрываются! Кстати, и в Верхотурье твоем была забастовка, когда ты еще был дома. Ты об этом знаешь?

— Богомолки бастовали? — шутя спросил Иван, но внутренне весь вздрогнул: как же он не знал о забастовке?! Кто бастовал? Чего добивались? Спросить неловко и стыдно! «Живу как маленький!»

Кирилл Петрович подтвердил:

— Маленький ты еще…

Иван мысленно согласился: «Да… хоть уже год зарабатывал деньги. Вот сейчас учусь на курсах учителей сельских школ, а живу на шее Маши. И все учение буду болтаться на ее шее, как гиря!»

Кирилл Петрович продолжал говорить о забастовках: по

слухам, они вспыхнули на Воткинском заводе и в Златоусте.

— Народ не знает, что за заводским начальством стоят полиция, губернатор и министры, и сам… царь…

— А вы знаете?

— На митинге слышал.

— А там говорят, что надо их всех смести? — эта мысль показалась Ивану так проста, что он обрадованно повторил: — Конечно, надо так и сделать! Только — куда их деть?

Учитель, растягивая слова, отрицательно покачал головой:

— Я тебе не говорил, что их надо смести… я даже этого не думал, я не борец… нет… Об этот орешек многие зубы пообломали…

Учитель снял со стены гитару, перебрал струны, тихонько запел:

Соловьем залетным
Юность пролетела,
Волной в непогоду
Радость прошумела…

В дрожащем голосе была тоска.

Иван подумал о Наденьке.

Образ ее давно сложился: высокая, с открытыми черными глазами, Джемма из «Овода».

Сердце Ивана сжалось от предчувствия большой радости, которая уже сейчас порой охватывала его и которую он не мог понять.

…На курсах в парте Иван нашел листок, прочитал и еще раз прочитал. Почему-то он решил, что этот листок запретный, и быстро оглянулся. За ним следил Юрий Чекин, соученик, белобрысый, с тонким носом. Стараясь не показать волнения, Иван спрятал листок в карман и улыбнулся. Юрий тоже улыбнулся ему.

После уроков они вышли вместе.

Юрий спросил:

— Погуляем? Забегу домой, кусок в зубы и — айда! И тебе принесу… — Голос его сорвался, дал петуха.

Снег лежал у изгородей, прилип к крышам домов, серел в канавах. Дышалось легко, Юрий, не таясь, громко сказал:

— Ты прочитал сегодня о том, что три дня назад в Петербурге царь расстрелял мирную демонстрацию рабочих…

— Это все правда?

— Так говорится в листовке…

Словно наяву Иван увидел надежду и мольбу в глазах людей.

Люди несли хоругви. Матери поднимали на руках детей. А их убили.

Юрий продолжал:

— Это случилось 9 января. 9 января — навеки день позора царя. Давай размножим эту листовку. Надо много таких листовок… — онемевшее от мороза лицо Чекина было багрово.

— Откуда этот листок в парту ко мне попал? — недоумевал Иван.

— От партии социал-демократов, — гордо ответил Юрий.

Иван, чтобы не показать своего невежества, не спросил, что это за партия. Он понимал, что слова листовки — справедливые слова, и предложил:

— Пойдем ко мне и сразу начнем переписывать.

Уединившись в комнате Ивана, они до полуночи размножали листовку. Чувство отваги переполняло обоих.

Теперь ежедневно друзья бродили по городу и где-нибудь обязательно наталкивались на толпу рабочих, перед которыми какие-то люди рассказывали о приказе царя стрелять в мирную демонстрацию, о том, что необходимо требовать от заводчиков восьмичасового рабочего дня, повышения заработной платы. Ивану казалось, что они говорят так смело только потому, что прочитали их листок. Юноши весело переглядывались. А увидя на заборе свежую листовку, снимали ее, прятались в комнатке Ивана, переписывали, а ночью расклеивали на заборах.

Листовки не всегда были понятны Ивану. То призывали к восстанию. Иван вспомнил Верхотурье, Кликун-Камень, который отражал кандальный звон, вспоминал арестанта со вдавленным лбом, которому отдал сапоги, и уверенно выводил: «Долой самодержавие!», «Долой царское правительство!» А то вдруг листовки звали всех к примирению: «Довольно крови!» Эти листовки были написаны каллиграфически, от руки. И также казались ему правильными. Но как прогнать царя без крови? «Небось уцепится за трон, с места не сдвинуть. А жандармы убивать рабочих пойдут…»

От противоречий кружилась голова. Иван стыдился своего невежества.

…По-весеннему грело солнце, пробуравливало сугробы. Плотно слежавшийся снег подтаивал и снизу, кое-где сверкали первые лужицы. Голые деревья качались под ветром. Слышался крик птиц над бурой, словно вспотевшей, землей.

Где-то здесь недалеко, в Мотовилихе, сейчас идут митинги, открывают людям глаза. Трудно разобраться Ивану в том, что слышал он. Одни выступали за союз рабочих с крестьянством в революции, другие — против этого союза и вообще против власти

пролетариата, за мир с либеральной буржуазией. Находились люди, которые и на митингах выкрикивали лозунги листовок «Довольно крови!». Их называли меньшевиками.

Иван исхудал и вытянулся. Кирилл Петрович как-то сказал:

— Много занимаетесь с Юрием… Тебе, Ванюша, надо больше быть на воздухе, больше спать… — Кирилл Петрович вздохнул. — А у меня забота. Наденька прибегала… Ее муж снова пьет… И плачет она, бедная, плачет!

Иван рассмеялся:

— А вы знаете, Кирилл Петрович, что здесь сейчас идет забастовка в железнодорожных мастерских?

— Еще бы мне не знать? По всему городу митинги! Но какое отношение это имеет к тебе? Тебе надо учиться!

Кирилл Петрович сердился. Иван не мог сдержать смеха: да, конечно, все эти митинги и забастовки не имеют к нему, Ивану Малышеву, никакого отношения! Да знал бы Кирилл Петрович о той радости, какую испытывал Иван, сидя по вечерам а своей комнате и выводя четким почерком призывные слова обращений к железнодорожникам! Это он вместе с ними требовал восьмичасового рабочего дня, повышения заработной платы, вежливого обращения с людьми!

— Не сердитесь, Кирилл Петрович, на мой смех! Я иду спать. Уроки я выучил!

— Дай мне слово, что по ночам не будешь заниматься, мальчик.

— Вот этого слова я не дам! — вознегодовал тот. — Так много интересных книг! Не успеешь за жизнь их прочитать! — Иван заметил, что его ответ понравился учителю.

Иван долго лежал в постели, вперив глаза в потолок. Образ черноволосой Наденьки плыл перед ним. Отеческая забота Кирилла Петровича о ней волновала. «Хороший он… Надо мне непременно с ней познакомиться, она старше и поможет во всем разобраться. Но как могла она смириться со своим пьяницей?»

III

Кама вскрылась и смятенно хлестала желтыми волнами, прибивая к берегам щепу, какие-то доски, целые бревна. Майское небо лило на землю тепло. С зазеленевших улиц не хотелось уходить. Даже Кирилл Петрович чаще покидал дом, тщательнее брил дряблые щеки и одевался. Весна!

Раз, уходя из дома, учитель важно предупредил:

— Иду к одному коллеге. Будем знакомиться с уставом союза учителей… Мечтаем создать свой союз в Перми. Вернусь часа через два.

Через два часа Кирилл Петрович не вернулся. Не вернулся он и утром на другой день.

В тревоге Иван направился в училище. Однако уроков не было. Учащиеся бродили по классам, не понимая, в чем дело. Никто из учителей не показывался.

Кто-то рассказал, что накануне учителя просили губернатора разрешить им собрание. Тот отказал. Здание, где собирались учителя, оцепила полиция. Только утром они могли выйти и пробиться к дому губернатора. К ним присоединилась большая группа рабочих.

Иван бросился на улицу.

Учителя ходили по городу, распевая торжественно и слаженно:

Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!

Они несли плакаты: «Долой самодержавие!»

Кирилл Петрович шел в первых рядах, без головного убора, седые кудри развевались, пиджак был распахнут. Увидев Ивана, он крикнул возбужденно:

— С победой, мальчик!

Видимо, губернатор разрешил им собраться!

Только ночью, идя с Кириллом Петровичем к дому, Иван узнал, что собрание так и не разрешили и что учителя протестовали не все.

— Вот когда все поднимутся… все вместе, тогда всего добьются! — задумчиво произнес Иван и добавил: — Борьба за общее счастье — вот что главное в жизни.

— Что ты? О чем?

Иван радостно глядел на учителя, улыбался и молчал.

Дома, стоя у стены, Кирилл Петрович начал читать стихи, покачиваясь, разрубая руками воздух. Голос гудел сильно и резко. Комнату, казалось, заполнили некрасовские мужики с котомками, пустившиеся на поиски счастливого человека, строившие железную дорогу:

Да не робей, за отчизну любезную
Вынес достаточно русский народ…
. . . . . .
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.

Год назад эти стихи казались Ивану простыми. Теперь же в них была для него сила, помогающая борьбе.

— Поэзия! — учитель неловко улыбнулся: — Поэзия — это любовь к страдающему, обиженному человеку… — Кирилл Петрович пробежал по комнате, напевая:

Вихри враждебные веют над нами…

На другой день, вернувшись с курсов, Иван увидел учителя сидевшим у окна в пальто, в шапке, в калошах на старых ботинках…

— Ждете Наденьку? — спросил Иван.

— Жду ареста, — строго и гордо ответил тот. — Ночью полиция начала выдергивать людей, которые участвовали в учительском протесте… Я готов, раз я участвовал, я готов… — внезапно голос Кирилла Петровича пал до шепота: — Но если без меня придет Наденька, ты, молодой человек, успокой ее. Скажи, что я пострадал за правое дело… — глаза его увлажнились.

— Да, может, вас не арестуют! — попробовал успокоить его Иван.

Кирилл Петрович подскочил:

— То есть как не арестуют?! Должны!

Его не арестовали. Напрасно ожидая, он оброс седой щетиной и был, кажется, обижен, что его участия в демонстрации никто не принял всерьез.

Шел шестой год. Учительские курсы должны уже были бы закрыться, но из-за волнений в городе занятия то и дело прерывались.

От Юрия Иван узнал, что члены комитета партии большевиков Андрей Юрш, Александр Борчанинов прошли по

цехам Мотовилихи, призывая рабочих бросить работу.

— Хоть бы в лицо их увидеть, спросить, что надо делать. Мы с тобой только пишем прокламации! — ворчал Иван, идя с Юрием Чекиным. — Я во сне даже пишу: «Вместо игрушечной конституции потребуем демократическую республику, которая обеспечила бы рабочему классу свободную борьбу за его мировую конечную цель — за социализм!» Давай поищем Александра Борчанинова. Может, и мы нужны будем, Юрка?

Как всегда, бродя по берегу Камы, они зашли далеко, где не слышно городского шума. Юрий спросил:

— Слыхал об Александре Лбове? Рабочий с Мотовилихи. Убежал от преследований в лес, сколачивает партизанский отряд. Не очень он грамотный. Только сельскую школу окончил. Отец его сотским был, — Юрий подтолкнул друга локтем. — Могу доверить тебе: хочу махнуть ко Лбову.

Сосны в зыбком тумане, казалось, оторвались от земли и плыли по воздуху. Голубое солнце поднималось над притихшей землей. Хотелось глубоко вдыхать прозрачный воздух, смотреть и на сосны, и на солнце, запоминать. Взглянув на друга, Иван испугался: так побледнел тот. Он сказал:

— Знаю я от Кирилла Петровича о Лбове. Говорят, что какие-то анархисты, бандиты, что ли, подались к нему. А он всех берет. Грабить начали. И ты, значит, тоже будешь грабить?

— Нет, я буду агитировать. Махнем вместе, а?

Иван твердо возразил:

— Не-ет, я должен вначале многое понять…

На углу Иван опять встретил белошвеек. Хохотушка была ярко накрашена, с насурьмленными бровями. Она глядела на Ивана не с обычным лукавым озорством, а зазывая. И не смеялась.

Она сказала:

— Пойдем, паренек, со мной…

Теперь подруга подтолкнула ее локтем:

— Оставь, Лизка, он ведь еще маленький…

— Ну что ж, в постели у меня подрастет…

Иван не понял всего, о чем она говорит, но в ужасе от ее бесстыдного взгляда отпрянул.

Мотовилиху закрыли. Партийный комитет требовал уплатить уволенным рабочим двухнедельный заработок, призывал к массовой политической стачке.

Около десяти тысяч рабочих «гуляли». Растерянности не было. На митингах были внимательны, деловиты, словно каждое слово, сказанное большевиками, указывало выход из положения.

Они учились. Учился и Иван.

По вечерам, рассказывая учителю о том, что видел за день, он уверенно говорил:

— Завод откроют… иначе народ совсем обнищает… побоятся не открыть…

— Как ты вырос, мальчик… Мне кажется, что ты уже знаешь такое, чего не знаю я.

Завод и в самом деле скоро открыли. Волнения же в Мотовилихе не прекращались. Солдаты и казаки старались разгонять демонстрантов.

Над малой проходной пушечного завода вился красный флаг.

На горе Висим по ночам пылали костры. По улице Каменной строились баррикады.

Курсы возобновили занятия. Но это теперь не радовало Ивана.

— Теряем время, — говорил он Юрию. — Там баррикады, засады… а мы… хоть бы патроны подавать…

Снова падал снег, слепил лица, скрипел под ногами. Но эта перемена не радовала, как раньше.

Юрий смотрел на Ивана насмешливо.

— А мы со Лбовым сразу царя свергнем!

— Да что вы одни-то… надо со всеми вместе!

Дома еще в прихожей Иван услышал женский голос, дрожащий и старый.

— Понимаешь, Кирюша, ведь он очень темен. Слова до него не доходят…

У хозяина гости? Иван, прислушиваясь, остановился у вешалки.

Выглянул Кирилл Петрович, обрадованно воскликнул:

— Ванюша! Вот кстати! А у меня Наденька!

Сердце Ивана вздрогнуло: вот с кем он поговорит, она поймет. Когда человек много страдает, он все может понять!

Быстро сбросив пальто, он вбежал в столовую.

Кирилл Петрович уже сидел за столом, прямой и важный. Лицо его было счастливо, как лицо человека, нужного кому-то.

Напротив сидела толстая старуха с двумя подбородками, пухлые пальцы были унизаны кольцами. Держа на ладошке блюдечко, она дула в него.

Иван оторопело остановился. Может быть, Наденька схоронилась в комнате хозяина?

— Знакомься, Ванюша, — торжественно сказал Кирилл Петрович. — Это — Надежда Васильевна! Наденька. Моя невеста в прошлом.

«Наденька» доставила блюдце, замахала пухлыми ручками на

«жениха», томно, расслабленно произнесла:

— Не надо вспоминать, Кирюша!

Оба они прослезились, засморкались. Иван в замешательстве пролепетал:

— Очень рад… — А сам озорно подумал: «Не очень же высосали ее переживания», — и сел в кресло, к окну.

С улицы раздался дикий женский вопль:

— Сенечку моего… Сенечку у-убили! Разбойники из леса Сенечку убили…

Иван увидел в окно простоволосую бабу. Она бежала, нетвердо ступая по дороге, болтаясь из стороны в сторону, точно пьяная, и кричала беспрерывно:

— Сенечку-у…

Наденька отхлебывала чай, сосала сахар, мелкими кусочками кладя его в рот.

— На улицу выходить стало страшно!..

Кирилл Петрович порывисто успокоил:

— Я провожу тебя, Наденька…

— Ах, друг мой, пожалуйста.

— Говорят, почту Лбов ограбил, убивает… разбойник… Из рабочих… Что хорошего ждать! — заявила Наденька.

Иван вскочил, выбежал в коридор, поспешно оделся. Ему было и стыдно, и смешно, и слезы бессилия подступали к глазам. «Наденька. Джемма… С ней я советоваться хотел!»

Не разбирая дороги, он брел к Каме, раздумывая горько:

«Кирилл Петрович, дорогой человек, свою жизнь разбросал по мелочам для Наденьки. А кто она? Руки в перстнях…»

Уныло. Ветер свирепо швырял снегом в лицо. Груды облаков, казалось, падали на землю, переваливаясь друг через друга. Холодный, никуда не зовущий край горизонта, маленькие домишки, за стенами которых не чувствовалось ни тепла, ни уюта. Иван присел на сваленные бревна.

Перед ним лежала Кама, скованная льдом. Там, где она впадает в Волгу, около горы Лобач, Репин рисовал своих «Бурлаков». Так говорил Кирилл Петрович.

Бурлак… по-татарски — значит бездомный человек… Но почему — бездомный… может, обнищавший?

Сколько же видела эта Кама-река? И названа-то как — Кама… Так и кажется — течет, течет… Удмурты говорят «Буджим-Кам» — длинная река. Коми говорят «Кама-ясь» — светлая река… Иван заволновался. Эта связь в языке двух народов показалась знаменательной.

IV

Грубый пинок заставил вскочить. Удар в ухо бросил его на бревна.

Кто-то поднял Ивана, заломил руки за спину, куда-то его поволокли, больно подталкивая сзади.

— Куда вы меня?

— Заткнись, бандюга лбовский…

Он не видел, куда его ведут. Падая от ударов в спину, поднимался; снова его волокли. Бросили в какой-то подвал и снова били.

Иван хотел выпрямиться, но упал от нового удара. Тяжкая усталость охватила его.

Плеть, как змея, опоясала спину и грудь. Стараясь спасти глаза, он заслонил их рукой. Удары жгли, как горячий дождь, находили, казалось, каждый кусочек тела, голову, уши, пальцы. Захватывало дыхание. Его пинали, втаптывали в пол.

Доносились неясные слова, похожие на стоны, сливались в один непрерывный крик. Он не понимал, что это кричал он сам, ничего не понимал, не знал, утро сейчас или ночь, сколько прошло времени, может быть, год? Или минута?

Заскрипела окованная железом дверь, Ивана опять поволокли и швырнули куда-то.

Гул голосов встретил его:

— Мальчишку-то за что?

— Украл чего-нибудь…

— Лбовец он.

— Нет у Лбова таких… — как из тумана, доносились до Ивана слова. Может, в бреду он видел, как около двери столпились арестанты.

— Вон как тебя встречают! — сказал кто-то и закашлялся.

— Еще бы! — раздался невеселый смех.

— Как замок забрякает, все к дверям бежим: хоть кусочек свежего воздуха дохнуть.

И верно, дышать было нечем: от зловония щипало глаза. На грязных нарах копошились люди, невысокий арестант с размокшим ртом что-то кричал. Камера в махорочном чаду.

Голова гудела, казалась разбухшей. Тело болело. Иван пополз на четвереньках, стараясь спрятаться от взглядов, тычась о чьи-то ноги, о нары. Нащупав солому, упал и затих.

На нарах, на полу сидели, лежали люди. Маленькое зарешеченное оконце, открытое настежь, не пропускало воздух, в него видимым снопом вливался мороз, но почувствовать его было

нельзя, такая стояла жара и духота.

Гулко раздавались в коридоре шаги. Вот забряцали ключи… Окованная дверь камеры открылась. На середину, глухо ударившись, упало тело человека. Кто-то дико взвизгнул во сне. Кто-то поднял голову и пугливо уронил ее вновь.

Иван подполз к человеку, попытался перевернуть его и заплакал от бессилия. Наконец удалось уложить новичка на спину. То был пожилой человек в изодранной на плечах косоворотке, с запавшими глазами.

Иван долго пытался подняться сам, и это тоже удалось ему. Ноги казались ватными. Пошатываясь, добрел до стола, из всех кружек собрал оставшиеся капли, вернулся к распростертому на полу человеку, смочил его губы.

— Эй, паря, подай-ка мне онучи. Ноги мерзнут, закутаю.

Превозмогая боль во всем теле, Иван подал на верхние нары какие-то тряпки и, глядя в глаза человеку, спросил беззвучно:

— За что?

Тот не ответил, бормотал свое, окутывая тряпками ноги:

— Разукрасили же тебя!..

Кто-то застонал внизу. Иван сел около избитого: тот начал приходить в себя, долго, не мигая, смотрел на мальчика. Неожиданно улыбнулся.

Иван спросил:

— За что? — он совсем утратил голос.

— За силу. Плакать, сынок, не будем. Помоги-ка мне пробраться к нарам, к свободному местечку. Там и поговорим.

Когда место было найдено, избитый долго лежал с напряженным лицом, борясь с болью. Иван вытер ему лоб мокрой тряпкой.

— Зови меня дядей Мишей.

От прозвучавшей в голосе ласки Ивану сдавило горло. О какой силе говорил дядя Миша? Ведь избивают-то их, а не они?

Свесив с нар голову, худой арестант посмотрел на них крохотными искрящимися глазками и сказал:

— Уж который день лбовцев ловят.

— Их перевесить надо! Не пугали бы честных людей, — отозвался кто-то еще.

В запавших глазах дяди Миши светилось любопытство.

— Посиди со мной! — ласково попросил он Ивана. — Как здесь очутился?

Тот порывисто сказал:

— Я и жить теперь не хочу…

Дядя Миша тоскливо рассмеялся:

— Ничего… здесь все через это проходят. Ты скажи только —

не лбовец?

Иван торопливо покачал головой.

— Я ненавижу… Я убью… — прошептал он, дико оглядываясь.

— Полицейских?

Дядя Миша заметно повеселел, потянул Ивана на солому, рядом с собой.

— Озлобляться не надо, парень. Много о нас плетей истрепано… Я так же вначале думал… Моего горя семерым не снести. За волосок держался, а потом услышал о крепких людях, которые за народ стоят… Нашел дорожку-то…

— Помоги… — прошептал Иван.

— Помогу, — твердо пообещал дядя Миша. — Нас вот выдал один человек… Очень ему доверяли. Оружейным складом боевой дружины заведовал… Всех и посадили. По допросу видно, что донос-то от знающего человека… Нет ничего хуже предательства! Обмануть доверие товарищей только самый подлый из подлецов может. Ну, ничего… нас много, а предатель-то — один. Веришь ли, и радость есть: напечатаем мы листовку, а ее к утру кто-то еще перепишет.

— Да ведь это мы с Юркой! — прошептал Иван. — Ночами… мы с курсов учительских…

Скрывая невольную улыбку, дядя Миша строго зашептал:

— Случалось, тем же почерком и меньшевистские листовки были переписаны… Типографии у них нет, так они от руки писали…

Иван отвернулся сконфуженно.

— Слыхал я о меньшевиках на митингах, а кто такие — не пойму, — признался он.

Прошла неделя. Дядя Миша рассказывал Ивану о меньшевиках, о событиях этих лет понемногу, обстоятельно, как первокласснику сообщает учитель азы. Рассказывал он и о Лбове.

— Жаль, грамоты у рабочих маловато. Вот и Сашка Лбов… наш он, мастеровой. Ушел в леса от преследований, отряд сколотил. В комитете думали — опорой нам будет его отряд. А он попринимал к себе всякой сволочи. Те быстро отряд-то в шайку превратили.

На допросы Ивана не вызывали, как и дядю Мишу. Забившись в угол, они без умолку говорили.

— А концы прятать умеешь? Про законы конспирации слышал? — все допытывался дядя Миша. — Вот слушай, а то в подпольную работу и не суйся: выдашь всех. Невесту, а то и мать родную встретишь — виду не показывай. Следи, не тянется ли за тобой хвост, шпик проклятый, на явку. Литературу или там…

оружие… мало ли, все надежно надо спрятать. А уж попался, так имена товарищей и адреса проглоти…

В стороне в группе арестованных тихо спорили. Слышались непонятные слова — гуманизм, декадентство. Спорили о мужике. Иван подумал: «О простых вещах, а говорят словно не по-русски».

Дядя Миша усмехнулся.

— Ты не всему верь. Пусть языки чешут. Нам ясно одно: так больше жить нельзя. О силе-то я тебе сказал не зря. Боятся они нас. Свергнем царя, отдадим крестьянам землю, власть народу — и начнем все заново. А без боя власть не получить, значит, пора драться.

— Дядя Миша, а меня долго здесь продержат? Скоро экзамены. Боюсь, как задержат.

Дядя Миша уклончиво протянул:

— Посмотрим. А куда же ты после курсов подашься?

— К своим поближе, к Верхотурью. В село Фоминское обещали назначить.

— Вот и смотри, как начнешь работать, что к чему. Вы, молодые, вам уж обязательно придется самодержавие-то ломать…

Казалось, так просто: объединить ненависть всех людей, и она станет силой, способной изменить жизнь.

Иван думал: «Бороться, тем более учить бороться других, для этого нужно много знать».

В камере становилось тише. Зевали, чесались люди, укладываясь на нары.

Дядя Миша шептал, вглядываясь в лицо Ивана:

— Если у тебя задумка есть — переделать мир, так ты должен знать законы развития классовой борьбы…

Ночью в камере поднялась драка. То и дело наведывались надзиратели. Кого-то вызывали, уводили. Арестанты ссорились: в дальнем углу камеры все время играли в карты.

— Уголовники… — протянул дядя Миша. — Садить-то теперь некуда, все тюрьмы на Руси переполнены, всех вместе и суют. А ты, милок, не гляди плохо на уголовников. Они тоже люди. Им тоже правду внушить можно… На свою сторону их перетянуть. Кто раньше поймет, тот кого-то еще поведет. И я в тюрьме раскрыл глаза-то, как оружием владеть, бомбы начинять, взрывчатку добывать и за словом верным в карман не лазить. Тюрьма, милок, это не только препятствие для нас, революционеров, но и учение. Революция-то обязательно повторится… И тогда уж… Меня, милок, надолго посадили. Так ты… вот запомни один адресок… Там тебя и проверят, и свяжут с другими… И книги, какие надо, дадут. — Дядя Миша зашептал

адрес, все продолжая пристально вглядываться в лицо Ивана.

Майским утром, чуть свет, Ивана выпустили. Кирилл Петрович все дни искал его по Перми. И, найдя, поручился, что он не лбовец. Учитель в молчаливом удивлении поглядывал теперь на своего квартиранта.

— Били… — сообщил Иван. — В синяках, наверное?

— Не в этом дело… Что-то в тебе изменилось, мальчик. Видишь, как получилось! — словно извиняясь, произнес Кирилл Петрович. — Вот будешь учителем, сиди дома да в школе.

Непонятный смех мальчика рассердил учителя.

— В политику не мешайся, я говорю! Она далеко уводит. И от дела отвлекает, — почти закричал он.

— А вы всю жизнь дома просидели… Наденьку ждали… Зачем? — вопросом ответил Иван.

Больше до дома они не произнесли ни слова.

Теперь Иван часто видел белошвейку Лизу. Но одну, без подруги. Лицо ее было измято, потухло.

Раз, отважившись, подошел к ней:

— Как же, Лиза, так получилось?

— Хозяйка выгнала… — Лиза заплакала.

Иван отдал ей деньги, какие с ним были, и спешно отошел.

Экзамены, сборы в дорогу отвлекли его от мыслей об этой девушке.

Обычно разговорчивый, Кирилл Петрович притих, был печален, задумчив и сух. Только когда Иван уезжал от него в Верхотурье, сказал сдавленно:

— Скучно мне без тебя будет, Ванюша. И многое ты мне открыл… — видя недоумение Ивана, повторил: — Да, многое открыл! Пересмотрел я в последние дни свою жизнь, все до мелочей… вдумался в свое прошлое, судил себя строго. Это с тех пор, как ты сказал мне, что я бесцельно прожил.

V

Отец поседел, ссутулился и все порывался что-то сказать или спросить, но только смущенно откашливался.

Майский день чист и тих. Небо свежее, зеленое. Тот же Рыжик вез Ивана со станции к дому. Звонили колокола. «Как будто я и не уезжал». Те же богомольцы с просящими глазами шмыгали по улицам.

А дома и церкви словно стали ниже и темнее, улицы сузились.

— Как, отец, все еще богомолок не терпишь?

— Ну их, длиннохвостых бездельниц! — добродушно отмахнулся тот. — У нас вон в прошлом году в сентябре.. Ну да, в пятом году, 12 сентября… еще один собор заложили. Огромный, каменный.. Три престола в нем. Восемь глав будет. Сто сорок одних окон. Денежек-то ухлопали опять!

Иван поинтересовался.

— Ну, а ось у телеги еще деревянная?

— Ладно, и на деревянной проезжу… — Отец нет-нет да и заглядывал сыну в лицо и вздыхал: прежнего Ивана нет, лицо утратило детскую мягкость, лукавство во взгляде заменилось сосредоточенным и непонятно упрямым выражением.

На родной горке Иван заметил мать, спрыгнул с телеги, побежал.

Анна Андреевна тоже стала словно ниже ростом. С прежней добротой и любовью смотрела она на сына.

— А я баню… натопила. Жду…

— Мы вместе с ним и сходим, — заявил отец.

В доме за плитой стояла Маша.

Иван бросился к ней.

— Что же ты, батька, не сказал, что Маша уже здесь?

— Да тебя больше богомолки интересовали.

— Ну, соловей, поздравляю с хорошей погодой! — смеялась Маша.

Вот так: он дома. И как хорошо, что Маша вспомнила от детства идущие слова: все удачи в семье Малышевых отмечались поздравлением с хорошей погодой.

Родители, совершенно счастливые, смотрели, как дети кружат друг друга, смеясь от радости.

Первой опомнилась Анна Андреевна и сказала с нарочитой строгостью:

— Марья, пельмени уплывут!

— Поймаем! — Маша шагнула к плите.

Иван с удовольствием проследил за ней. Что-то изменилось в сестре: веселье сменялось тревогой; румяная, она вдруг бледнела, расторопно сновала по комнате и вдруг останавливалась, думала о чем-то.

— Ты, Маша, еще лучше и ростом выше стала. А то я испугался: дома на пол-аршина вроде в землю ушли, родители наши тоже вроде меньше стали…

— Это потому, Ваньша, что ты сам вверх выхлестнул, — прогудел отец. — Шестнадцать лет, а все осьмнадцать дашь.

— Как твоя глухонемая ученичка поживает? — спросил Иван у сестры, усаживаясь вместе со всеми к столу.

— Беда с ней! Подходящих книг для нее не найду! — ответила та.

Иван заговорил с Машей пальцами. Отец поглядел на него, на дочь.

— Ну, мать, дождались! Два учителя в доме, оглушат нас своей азбукой! Говорите тише!

Дети шутки не приняли. Иван выглядел виноватым, Маша — испуганной. Родители рассердились.

— А ну, прекратите кривляться!

Однако главное было сказано: Иван просил сестру отвлечь от бани или задержать в избе отца, чтоб он мог вымыться один.

— Почему?

— Не хочу ему рубцы на теле показывать.

— Откуда рубцы?

— Избили. Сидел в тюрьме, по ошибке за лбовца сочли.

Вслух Маша сказала:

— У меня в школе ученики в разбойника Сашку Лбова играли.

— А он не разбойник, — возразил Иван.

Маша перестала есть, снова побледнела.

— А кто же?

Понимая, что сестра боится за него, Иван рассмеялся и принялся рассказывать о Лбове.

Отец, довольный, поглаживал седеющую бороду: дети выучились, могут вести серьезные и умные разговоры.

Все затихли, слушая Ивана.

Больше всего интересовала отца русско-японская война. Он жадно выспрашивал о подробностях:

— Так, значит, контр-адмирал Небогатов без боя русскую эскадру отдал? Вишь, ведь как! Две тысячи матросов к боям были готовы, а он сказал, что их жизни пожалел? Продажная тварь. Россию продал!.. Когда, говоришь, это случилось? В мае пятого года?

Рассказывал Иван и о декабрьских рабочих волнениях в Мотовилихе, о подавлении их, о Кирилле Петровиче и Наденьке. Умолчал только о дяде Мише, о явке, которую тот дал, о задании — организовать в Фоминке кружок.

Перепели все песни, сидя до сумерек у раскрытых окон.

Отец вздохнул:

— Ох и Поешь ты, соловейко! Пой, Ваньша… В песне народ настоящей жизнью живет, — и рассмеялся: — В песне да в бане. Собирайся, Иван.

Маша стремительно исчезла. Иван достал из чемодана одежду, из которой вырос:

— Вот, отдай арестантам, мама. Небось все еще на базаре обноски для них покупаешь, — и тут же обратился к отцу: — И что же они тебе рассказывают теперь, арестанты-то?

— Много, Ваньша! Народ-то не только в Перми поднимается… — Отец пытливо смотрел на сына, словно проверяя его.

Иван серьезно подтвердил:

— Поднимается народ.

— Что ты знаешь? — враз осевшим голосом спросил отец.

Запыхавшаяся, вернулась Маша. Заметив, что платье на ней мокрое, Иван понял, весело ответил отцу:

— Кое-что знаю.

— Смотри, тебя в тюрьму или из тюрьмы поведут, у меня для тебя обносков не найдется… — Отец любовно оглядел сына: — Вымахал! Собирайся в баню.

Мать подала Ивану чистое белье:

— Я тебе купила не обноски, как арестанту, а новенькое! Вырос, и над губой уж пух загустел.

— Спасибо, мама.

Отец ушел вперед.

Из огорода, где в стороне стояла баня, Иван с удовольствием оглядел берег реки, золотые маковки церквей, дома, бежавшие вниз по угорью.

Чтобы войти в дверь бани, ему пришлось согнуться. Парной и жаркий воздух захватил дыхание.

Отец голый бегал по бане и бранился:

— Баню истопили, а воды горячей нет! Как бабы каменку-то не расплавили! Вот я им…

Иван еле сдержал смех: догадливая Маша, да не очень: что теперь ответит отцу?

Когда вернулись в дом, Маши не было.

— Где же она?

Мать отозвалась:

— Ушла учебники какие-то искать.

…Маша ждала брата в рядках малины. С улыбкой поглядывая на него, спросила:

— Ну, и чему ты научился, рассказывай.

— Многому, Маша, — серьезно ответил Иван. — Я понял знаешь что? Нужно не транжирить время ни минутки… Нужно учиться. Учить других.

Видимо, Маша ждала не такого ответа. Она разочарованно протянула:

— Детей? Это я знаю.

— Не только детей. Предстоит борьба, Маша. Либо мы, либо буржуи. Лучше — мы. Только нам нужно много знать. Вот я о чем. Читала ты Ленина?

— Нет. — Маша прислушалась к пению птиц в кустах и повторила: — Нет… Но очень хочу.

— А я читал. Я дам тебе. Я достану. Пойдем. Уже ночь. Счастливый день короток… — А сам все медлил. Хотелось узнать, как жила Маша. Какое-то горе было у нее.

Неожиданный дождь загнал их в дом.

— Вот так тебе, — смеялась Маша над братом. — Не любопытничай.

Первые дни Маша робела перед братишкой и все с большим удивлением следила за ним. Еще все спали в доме, а он уже тихо выходил из чуланчика в огород и там, сидя на низенькой скамье, читал, делал какие-то выписки. Холодная заря поднималась и текла.

Искупавшись, Иван помогал матери по дому. И что бы он ни делал, видимо, одна какая-то мысль поглощала его внимание.

— Тебе — шестнадцать или шестьдесят? — спросила как-то Маша, застав его в огороде.

— Мне — шесть. Я ничего не знаю. — Иван с досадой захлопнул книгу.

— Тебе сто шесть. И я сведу тебя к друзьям.

Вечером она вела его по знакомому пустырю, через репейники и крапиву, к Камню-Кликуну.

Все так же спали ягнята на узкой влажной тропе, те же запахи стояли над пустырем. Иван посмеивался:

— Опять весь репей на юбку соберешь.

— Ах, как ты тогда драпал! — воскликнула со смехом Маша.

— Я тогда не знал, что в Кликуне твои друзья сидят. И мне было на два года меньше.

— Помолчим.

Река чешуйчато поблескивала и плескалась рядом. Какие-то розово-сизые птицы пролетали без крика. Воздух холодел,

подползала влажная пахучая темнота. Маша внезапно остановилась, обернулась к брату. В темноте белело ее лицо да светлые цветочки темной кофты.

Неожиданно сестра обняла его. В молчании постояли они, взволнованные мыслью: кончилось детство.

Навстречу горланил Кликун. Они обошли его с долины, где было безветренно, темно.

Маша тихонько свистнула, ей ответили таким же свистом.

У самого Камня в темноте сидели на траве люди. Один сказал:

— Вот и Малышевы. Иван да Марья, — и добродушно рассмеялся: — Место мы выбрали хорошее. Кликун всех отпугивает. Можно говорить не таясь. Мария Михайловна сказала, что ее брат только что приехал из Перми, видел все, что там происходило, своими глазами.

— Интересно послушать…

— Может, расскажешь, паренек?

Иван на минуту растерялся. Но, не выдав себя, начал спокойно, неторопливо, тщательно подбирая слова:

— Много я не понимал тогда… Только в тюрьму случайно попал, так вот там мне человек хороший растолковал… В эти годы рабочий класс проснулся, товарищи, — собственный голос показался ему чужим. И последние слова — выспренними, чужими. Он смолк на минуту.

Плескалась вода. Трава чудесно пахла. Было тихо, влажно. Сгущалась темнота. Иван рассказывал о бесчинствах казаков и охранки, о закрытии Мотовилихи, о безработице и голоде рабочих. Он и не подозревал, что столько воспринял из того, что видел и слышал тогда. Порой голос срывался. Иван конфузился: голос все еще не установился, подводил его.

— Еще в октябре рабочие Мотовилихи были вооружены, организованы в боевые дружины. Но оружия было мало…

— Для нас сейчас самое главное — это борьба с меньшевиками, — произнес из темноты голос, густой и прерывистый, как у человека, долго терпевшего зло. — Они кричат всюду, что революция кончилась навсегда. Неграмотным все мозги запорошили, стараются внушить, что партия изжила себя…

— Тоже мне, идеологи!..

— Да мы их на обе лопатки!

Иван тихо продолжал:

— Рано или поздно придется за оружие браться. Всем. Это мне тот человек в тюрьме говорил…

Когда Иван кончил, кто-то одобрительно произнес в

наступившей тишине:

— Ну вот, у нас на одного большевика больше!

…Теперь часто Иван пропадал из дома, возвращался поздно. Отец до прихода сына не ложился в постель, но не спрашивал, куда тот уходит каждый вечер. Раз только хмуро и озабоченно сказал:

— Смотри, Ваньша. Время смутное. Один в одну сторону тянет, другой — в другую… своего от чужого не отличишь.

Иван взял его руку. Шершавая, жилистая, она тяжело лежала у него в ладони.

— Я отличу. Завтра в Фоминку в школу еду…

Михаил Васильевич был печален и горд.

— Дай и мне чего почитать. А то меня одни арестанты образовывают, — после паузы попросил отец. — Только почему завтра в Фоминку? Доживи хоть до своих именин.

— Нельзя. Что именины? Семнадцать лет мне и там стукнет.

— Стукнет! Смотри, как бы по тебе чем-нибудь не стукнуло?!

— Не беспокойся, отец. Чего бы ни случилось, не беспокойся. Маму береги.

VI

Буланая лошадка бежала легко, далеко выкидывая вперед тонкие ноги, подбирала копытами версты, швыряла их назад.

Кедровники то раскидывались по обе стороны дороги, то расступались, открывая болотистую низину.

— Хороша лошадка!

— Э-э, под ней и цветочная пыль не опадет!

Кучер Семен Немцов, высокий, сутуловатый, с большой красивой головой, без конца курил. Его вьющиеся русые волосы шевелил ветер.

— Ну, а как вы… как вы жили… как живете? — спросил Иван.

— Сирота слезами живет, — ответил тот, улыбаясь.

Жали рожь. Когда телега пересекала поле, женщины побросали работу и уставились на Ивана. Видно, редки были здесь приезжие.

Навстречу неслось озеро, полное света и воздуха. Жар подсолнухов на поле слепил глаза.

Дым вился, плыл над селом кудрявой грядой. Шелудивые дома, казалось, не стояли, а сидели на черной земле, нахохлившись. Редко-редко мелькали пятистенники железными цветными крышами.

Показав на них кнутом, Немцов сквозь зубы, как бы для себя, произнес:

— Лесохозяева пыжатся. У нас мужики здесь почти не пашут. Все на лесопромышленников робят. Теперь вот помещик Кислов все леса вокруг скупил, всех в кулак зажал. Вицу в лесу у него срежешь — запорет… Не зря Удавом прозвали.

Иван с особым вниманием посмотрел на Немцова.

У одного пятистенника Семен остановил лошадь.

— Вот и здешний хозяин на лесе нажился… Савватий Новоселов. Дела́ имел в Тюмени, в Омске, в Верхотурье. Умер недавно. Здесь тебе квартиру школа сняла…

Вдова Новоселова Таисья Васильевна, сорокалетняя женщина с изъеденным оспой носом, похожим на губку, встретила квартиранта у ворот. Низко кланяясь, произнесла напевно:

— Милости прошу, господин Малышев, — подхватила один чемодан и присела под его тяжестью.

Возница рассмеялся:

— У него в чемоданах-то кирпичи. Кобыла моя еле из нырков телегу вытаскивала.

Иван сам перенес чемоданы один за другим в дом.

Горница держалась закрытой. Хозяйка ютилась в просторной

светлой кухне.

Здесь же, отделив цветастой занавеской угол, приготовила кровать для молодого учителя. За занавеску он и внес свои чемоданы.

Хозяйка пригласила к столу.

— Мне говорили, что ты, Иван Михайлович, столоваться у меня будешь? — ее глаза, стеклянные, кукольные, с пристрастием вперились в чемоданы.

Иван объяснил:

— Учебников много привез… — и подумал: «Такая хозяюшка и под замок не постесняется заглянуть».

Таисья Васильевна, накрыв на стол, сообщила неизвестно к чему:

— Муж-то мой был оборотистый господин… Денежку любил. — Порывисто сорвалась с места, гостеприимно подвинула Ивану тарелку: — Ешь, Иван Михайлович, курочку-то. Я нарочно развожу, чтобы зимой курятинка была.

— Ну, наверное, все-таки петухов забиваете?

— Что ты! Каких петухов! Мы петухов не едим. Грешное дело. Когда Христос страдал на кресте, петух пел. Христос за это прогневался: куры летать не стали Рябчик из большой птицы в маленькую превратился. Грех.

— А рябчика-то за что Христос наказал, ведь пел-то петух?

Хозяйка растерялась, видимо, никогда ей не приходила в голову подобная мысль, затем всхлопнула в негодовании руками:

— Ты, молодой человек, со мной сомнительных речей не заводи. Ты еще маленький, хоть и учитель.

— Успокойтесь, Таисья Васильевна, у меня не было желания обидеть вас.

— Ну то-то. Уверуй, говорят, в бога — и не будет над тобой закона, ибо праведному закон не лежит, — туманно и назидательно сказала хозяйка. Выглянув в окно, сообщила: — Там тебя, учитель, ребятишки спрашивают.

И верно. На поляне около дома собрались дети.

День был полон нежного света. Иван, радостно-возбужденный и несколько испуганный предстоящим разговором с будущими воспитанниками, спустился с крыльца. В окно за ним наблюдала хозяйка.

— Здравствуйте, ребятки, — сказал сдавленно Иван.

Ему ответили робко, вразнобой:

— Здравствуйте…

— А вас как зовут? — тоненьким голоском спросила одна из девочек и спряталась за спину подружки, которая тупо смотрела на учителя и сосала палец.

Иван подошел к ней, молча отнял палец от губ и сказал, обращаясь ко всем:

— Зовут меня Иван Михайлович, по фамилии Малышев. А теперь — пошли, показывайте ваше село, реку.

Каждый старался идти рядом с учителем, на тропе не вмещались. Дорогу пересек быстрый ручей. Дети с визгом бороздили ногами воду.

Вот и река Тагил. По ней шли плоты леса.

На берегу — черное здание кузницы. Звенящая дробь молотка заглушалась гулкими ударами кувалды.

Березы стряхивали с листвы дождевые капли, распрямляли ветки, наполняли лес тихим шорохом. Сосны казались молодыми, праздничными. Грустно куковала кукушка. Утки падали на воду с радостным криком, ныряли, отряхивали крылья, гоготали.

Все дышало теплом и надеждой.

Иван чувствовал прилив нежности к травам, деревьям, к этим ребятишкам, которые то робко, то озорно заглядывали ему в лицо. Жизнь казалась богаче и прекраснее, чем прежде. В радостной оторопи он не понимал слов детей, мысли путались.

Дети сшибали кедровые шишки, собирали бруснику.

— Иван Михайлович, а верно, что в лесу лешаки живут?

— А в воде — русалки? Моя мамка сама русалку видела.

— Выдумка все это. Нечистой силы нет…

— А бог-то тогда для чего? Он ведь, чтобы нечистую силу побороть.

Радость Ивана спа́ла: сколько надо знать, чтобы сломать суеверия детей. Он их называл ласковыми именами, ему казалось, что он любил их давно. И это все, что он мог пока им дать.

Дети нарвали цветов, украсили себя венками.

Издалека послышался звон бубенцов.

В один миг дети побросали букеты и венки у дороги и скрылись. Из кустов послышался их разноголосый шепот.

— Иван Михайлович, прячься!

— Прячься скорее! Удав с ширкунцами…

Он отошел в сторону, пропуская мимо тройку. На козлах сидел унылый старик, а сзади развалился тучный человек с багровым лицом. Картуз оттопыривал его красные уши. Он вперил в Ивана неподвижный мутный взгляд. Тройка промчалась, дети вновь окружили учителя. Из их испуганного шепота он понял, что это лесохозяин Кислов, хромой, всех ненавидит, и его все ненавидят и прячутся от него. «Так вот он — Удав», — отметил Иван, вспомнив слова возницы.

На краю села — темное приземистое здание.

— Это наша школа…

— А вон мой дом! — вцепившись в руку Ивана, радостно взвизгнула белоголовая девчушка, та, что первая заговорила с учителем. Ее звали Симой. Она показала на покосившийся, черный от времени, неуклюжий дом напротив школы.

— У меня и мама книжки умеет читать. И дядя Евмений.

— Евгений, — поправил Иван.

— Нет, Евмений. Кочев Евмений… Они с тяткой портные. Пошьют-пошьют да и почитают.

Иван заинтересованно оглянулся на дом.

В ласковых сумерках окна дома Кочевых ярко освещались упругими лучами закатного солнца.

Угасла последняя узенькая, как щель, полоска над лесом. По земле низко расстилались клочья тумана, окутывали сыростью улицы.

…Условились и завтра бродить по лесу. Иван был рад этому: завтра ему исполняется семнадцать лет. Он решил провести этот день с пользой для дела. Не рассказать ли детям об Оводе? Они невежественны, но доверчивы и восприимчивы.

У хозяйки сидела какая-то лохматая гостья. Пили чай. Увидя Ивана, обе, как по приказу, поставили блюдечки и уставились на него.

Иван поздоровался и прошел за занавеску. Свет от лампы проникал и сюда. Пахло щами, керосином. Душно. Хотелось снова выйти на воздух, но нужно было подготовиться к завтрашнему дню. Учитель уселся на табурет у кровати и, держа тетрадь на коленях, стал набрасывать план беседы. Разговор в кухне возобновился.

— Жила я хорошо, Васильевна, в гости ходила да гостей принимала. И моды всякой нашивала! Только овдовела не ко времени. Вот и пришлось мне порчу отшептывать, ворожить… Но уж всю я правду угадываю!

— Так сворожи мне, я тебе говорю. Не даром ведь! Петушка подарю.

— Не грешно ли?

— Дареный-то? Что ты!

Загремела посуда. Зашелестели по клеенке карты.

Приглушенный загадочный шепот чуть не рассмешил Ивана.

— Карточки печатные, четыре туза, четыре короля, четыре дамки, четыре вальта, четыре десятки…

Неожиданно занавеска раздвинулась, хозяйка спросила с притворной лаской:

— И что ты, господин учитель, все пишешь? Лучше бы с нами посидел, чайку попил.

— А вы не обращайте на меня внимания, — с улыбкой

ответил Иван. — Я готовлюсь к разговору с детьми.

Женщины дружно рассмеялись.

— Да чего к нему готовиться!

— Что ребятишки понимают!

Хозяйка задвинула занавеску. Гостья сказала:

— Торкала я языком-то, торкала да еще поторкаю. Ждет тебя, Таисья Васильевна, большая нежданная радость! Всю жизнь радоваться будешь.

— Чему бы это, а?

— Вот помяни мое слово. А петушка-то как — сегодня или завтра отдашь?

— Возьми хоть сегодня. Пойдем, с седала сниму.

Женщины вышли.

Иван подумал:

«Вот здорово! Вот и это бы детям рассказать… Нельзя только сразу… Нельзя. Осторожно нужно. Не озлоблять никого раньше времени. Но о петушке… как его бог покарал, не забуду!»

Умываться утром Иван Михайлович пошел к реке, которая шумела вблизи. Косматый туман сочился меж берез.

С плотов неслись голоса:

— Черти веревки вьют из тумана-то.

— То-то крепка будет!

Дома хозяйка, оглядев его, воскликнула:

— Какой красавчик! Румянец-то — как у девки на выданье, волос волной. И лицо-то круглое да улыбчивое! Иди в школу, начальница требует, покажи ей свою красоту.

…Совсем бесшумно вошла в класс женщина. Тонкое матовое лицо светилось доброжелательностью. Он знал ее имя — Аглая Петровна, но не знал, что она молода и красива.

— Господин Малышев? Ну, давайте знакомиться!

Они сели за одну парту, искоса поглядывая друг на друга. Аглаю Петровну забавляло смущение учителя, и она медлила начинать разговор. Наконец, сжалившись, спросила:

— Нравится вам здесь? Я слышала, вы уже встречались с детьми?

— Суеверий много, — выпалил Иван первое, что пришло в голову.

— О да, суеверий много. В прошлом году скот поразила сибирская язва. Знаете, как ее лечили крестьяне? Вся деревня столпилась, начали тереть сухие доски одну о другую, добывать, как они говорят, «деревянный огонь». Чудодейственный огонь. Этим огнем прижигали язвы. Мор, особенно на лошадей, был огромный. Наших советов не слушали.

Под внимательным взглядом умных карих глаз женщины

Иван покраснел. Безо всякой связи попросил:

— Расскажите о Кислове.

И по тому, как вздрогнула Аглая Петровна и оглянулась, понял, что это имя, действительно, всех пугает.

— Это помещик, пьяница, самодур, — полушепотом начала объяснять заведующая. — В общем, несчастный старик.

Слово «несчастный» было для Ивана неожиданным.

— Да, да, несчастный! — повторила женщина. — Живет он с девицей Анной Филаретовной. Она им командует, спаивает, держит в подчинении… Он и сам со странностями… Вот, например, не любит свиста… — Аглая Петровна грустно рассмеялась: — А молодежь наша по ночам вдруг начала его травить свистом… Окружат парни его усадьбу и такое устроят!.. — уже с сокрушением сообщила она и пытливо взглянула на учителя: — Я не знала, что такого мальчика пришлют мне в школу.

— Я справлюсь, Аглая Петровна! — снова покраснев до ушей, воскликнул Иван.

— Да где там! — вздохнула та. — Вы — мальчик. И вот слушайте. Свистит наша молодежь. А Кислов вызовет стражников, и гоняются за парнями целую ночь. Я всегда боюсь — вот кого-нибудь поймают… тогда… забьют до смерти! — Она вздрогнула и нахмурилась.

Иван, превозмогая застенчивость, сказал:

— Вы мне напоминаете народоволку!

— Ну нет! — неожиданно резко бросила заведующая и поднялась: — Я далека от политики… — и тут же переменила тему разговора: — Я знаю, Иван Михайлович, что вы уже познакомились с детьми, они нас ждут, Я придумала сегодня прогуляться с ними в лес.

Дул теплый пахучий ветер. Лес, как и вчера, радовал тишиной, яркостью красок, из его гущи слышались смутные звуки. Несся плот по сверкающей реке. Волны плескались и пели.

Дети тащили на палке котелок, ложки, узелки.

С берега мужики закидывали невод. К неводу привязывали бутылку водки и какой-то сверток в тряпке.

— Зачем это они? — в недоумении спросил Малышев.

Дети враз начали объяснять:

— А это водяному царю…

— Задобрить его надо… — тоненьким голоском объяснила Дашутка Пименова.

Она всех хуже одета. Отец не обращал внимания на дочь, мачеха ее била. Иван еще вчера узнал об этом от детей, и сердце его ныло от жалости. Дашутка забита, поднимет глаза на учителя

и тотчас опустит. В глазах страх.

Иван и сейчас поймал на себе ее испуганный взгляд, как бы мимоходом обхватил девочку за плечи и возразил:

— Что ты говоришь такое? Хватит нам царя земного!

Дашутка под его рукой пугливо и радостно сжалась и сообщила:

— В узелке-то табачок, пирог с рыбой!

— Да для чего, Дашутка, скажи мне?

Как меняется человек, когда к нему вдруг отнесутся хорошо!

Совершенно счастливая, уже более окрепшим голосом Дашутка объяснила:

— А чтоб не серчал… чтобы рыбки отпустил!

Когда невод достали, все подошли ближе. Тряпка на неводе растрепалась и была пуста, на воде всплыли кусочки пирога.

— Принял! — переговаривались довольные рыбаки.

Аглая Петровна спустилась к ним, о чем-то поговорила. Те согласно кивали. До Ивана донеслись слова:

— Река-матушка кормит и куском не укоряет.

Рыбаки достали первый улов, отобрали Аглае Петровне крупных окуней. Дети начали чистить рыбу, собирать хворост для костра.

Уха выдалась отменная. Все расселись в кружок. Только беленькая Сима стояла, в смущении теребя фартук. Все вдруг стали степенны, важны. Ждали чего-то.

Сима сказала:

— Господин учитель, Иван Михайлович, мы тебя проздравляем с днем ангела. Мы радуемся, что ты к нам приехал. Мы будем тебя слушаться. Вот и все. А словам этим меня тятя научил.

Аглая Петровна сухо сказала девочке:

— Ты хорошо, Сима, говорила. Только старшим надо говорить «вы», а не «ты». И «поздравляем», а не «проздравляем». Поняла? Садись…

Девочка покорно села, поджав под себя тоненькие ножки.

Иван подумал: «Я не буду учить так назойливо, на каждом шагу», — и покраснел, словно сказал это вслух.

— А откуда вы узнали о моем дне? — тихо спросил он заведующую.

Та усмехнулась:

— Из дела. Там указано, что вы родились 27 августа 1889 года. Значит, вам сегодня семнадцать?

Аглая Петровна налила уху в блюдце и ела отдельно. О котелок звенели ложки. И опять Иван подумал:«Или каждому бы отдельно посуду, или — общий котел». Заведующая и нравилась

ему своей силой, и за что-то он осуждал ее.

Дети затеяли игру в «ляпы», бегали меж высоких сосен. Иван бросился за ними. Аглая Петровна недовольно сказала:

— Господин Малышев, идите ко мне!

Когда он подошел, добавила:

— Не советую вам так держаться с детьми. Если будете слишком свойским, они перестанут вас слушаться.

Иван возразил:

— Я думаю — наоборот. Нам нужно с ними быть здорово свойскими. Зачем отдаляться? — и снова бросился за детьми, которые лукаво поглядывали на него из-за деревьев, плутовато ждали, заманивали.

Он услышал насмешливое восклицание заведующей:

— «Здорово»? Самого, кажется, учить надо!

«Назло это слово с языка не спущу!» — весело подумал Иван.

Видимо, Аглая Петровна почувствовала себя неловко.

Когда шли к селу, миролюбиво сказала:

— При школе есть лошадь и кучер. Если вам потребуется, можете ими пользоваться.

VII

Молодой учитель скоро стал для учеников «слишком свойским». Они провожали его в школу и из школы. Иногда с сумками из мешковины через плечо ходили вместе с ним за село.

Сжатые полосы розовели в солнечном блеске, но солнце не грело, холодно сияло голубое небо. Паутина, висевшая на кустах, была усеяна капельками росы. Утки летели молчаливыми стаями, не садились на кормежку. По оплывшим грядам на огородах скакали вороны. Падали снежинки, набивались в каждую щель замерзающей земли. Прибитая морозом трава хрустела под ногами.

…Часто в сильные холода дети оставались в школе на ночь, разжигали печи. В классе витал запах липы, мочала. С приходом зимы он усилился.

— Заточили нас в школе, — сказала как-то Дашутка.

«Заточили» — слово вызывало воспоминания о Перми.

Иван снял с головы Дашутки гребенку, причесал ей волосы.

— Мягкие да светлые, как золото, волосы-то у тебя, девочка… — нежность поднялась в нем.

На улице верещала колотушка ночного сторожа.

Иван Михайлович задерживался с детьми, читал для них вслух, беседовал с ними, а сам думал: «Почему нет писем? За все время пришло одно письмо из тюрьмы от дяди Миши. Он спрашивал: «Поешь ли ты, как раньше? А здесь тоска: все певчие птицы в клетках», — значит, партия разгромлена, все арестованы». Иван был уверен, что понял намек дядя Миши правильно, и был горд, что ему сообщают об этом как равному, как борцу, надеясь на него, веря в него.

В один вечер к Малышеву в школу пришел молодой человек, дядя Симы Кочевой, которого она называла странным именем Евмений. Увидев его, Иван мысленно сказал себе: «Начать? Пора начинать!»

Снимая снег с нависших бровей, Евмений улыбнулся.

— Вечеряете? А я… книжку хочу попросить, тоскливо сидеть без книжки, — Евмений надсадно закашлялся. Был он даже с мороза бледнолиц: суконная шапка с козырьком удлиняла его лицо. В ворот распахнутого полушубка видны пестрый шарф и галстук.

Снег на густых бровях и на усах гостя растаял, Евмений вытирал их заскорузлыми пальцами.

— Любим мы с братом книжки читать. Только бы посерьезнее.

От гостя исходил тот же запах мочала и липы.

Иван открыл шкаф, в котором держал часть литературы, достал книгу.

— Вот и серьезная. «Царь-голод».

— А-а! Слыхал я об этой книжке. Почитаем, — Евмений подмигнул и вновь закашлялся.

— Что с вами?

— Попростыл… Сейчас даже на клиросе петь не могу.

— Вы, что, верующий?

— Не в этом дело. Просто петь люблю.

Евмений запел жидким приятным тенорком, лукаво глядя на учителя:

Как по речке, по быстрой,
Становой-то едет пристав,
А за мим — письмоводитель,
Страшный вор и грабитель…
Горе нам, горюшко, великое горюшко…

— Это вы про вашего Кислова?

Дети затеяли какую-то игру. Громко говорили и смеялись.

— А не боитесь такие песни петь? — все допытывался Иван, не спуская с Евмения глаз.

— Так ведь только вам. Вы не из бар, — Евмений протянул Малышеву руку. Ладонь его была влажная, горячая. — Мы у фельдшерицы книги раньше брали. Так у нее только про любовь, а нам хочется другое.

Вышла к детям и Аглая Петровна. Она жила при школе. Дети смолкли, с боязнью глядя на нее. Поспешно ушел и Кочев. Иван сиял: «Вот, кажется, и есть «певчая птица». Аглая Петровна посмотрела на него подозрительно.

Ночь свистела, мокрые хлопья снега налипли на окна школы. Промозглый ветер колотился в ставни, перекатывался через кровлю, врывался в круглую печь. На воле было уныло. Луна ползла по корявому небу. Обледенелые ветки были пусты.

Не замечая ничего вокруг, Иван торопливо шагал по суметам к дому. «Читать! Читать! Каждую свободную минуту — учиться!»

Через день Евмений Кочев снова пришел в школу к Малышеву.

— Разбирали мы с братом книжку, разбирали… зовет она… лучшую жизнь обещает. Но надеяться-то на что?

— На себя, — ответил Иван.

Евмений задумался.

— На себя? Мы вот живем далеко от железной дороги… почту

ждем месяцами. Она приходит не к нам, а в село Махнево. Люди наши редко к домам собираются, все на заработках: летом — на реке Тагил, на реке Туре плоты собирают для Тюмени, зимой — лес рубят. Леса повысекли вокруг, а живут впроголодь. Орехами да клюквой кормятся. Женщины наши рогожи ткут. А лесопромышленники богатеют. Законы-то не для нас писаны. Куда еще податься? Тайга вокруг. Кто все расскажет? С нами и поговорить некому. А слово-то — оно и ржавчину смоет. Верховодит всей округой Кислов, помогает ему сельский писарь.

Сельского писаря Иван уже знал. Тот ходил по селу в огромных очках, с пером за ухом.

— От кого милости ждать? Молчим и терпим, — раздумчиво закончил портной.

— Надо бороться, а не терпеть.

Евмений быстро взглянул на учителя и неожиданно спросил:

— А о Ленине ты слыхал?

Иван промолчал. Уже окончательно переходя на «ты», Кочев строго спросил еще:

— Тебе сколько лет?

— Семнадцать.

— Ты еще врать не научился. Говори мне все.

Иван верил этому вздрагивающему голосу, этим глазам, которые жарко впились в него. Он достал книжку Ленина «К деревенской бедноте» и заговорил:

— Сознательных людей собрать надо… Но вот можно ли?

— Конечно.

— Где?

— Да хоть у нас. И в Махнево желающие есть. Это село соседнее.

— Собирай. Почитаем вместе. Я ведь и сам Ленина толком не знаю, попала вот одна книжонка…

Евмений полистал книжку, вчитываясь в отдельные фразы, и снова лукаво подмигнул Малышеву.

Собрались у Кочевых на другой же вечер.

От лампы шел керосиновый чад. Половину избы занимал примитивный ткацкий станок. Под лавкой кучей навалено мочало.

Так вот почему стоит этот запах в школе: в каждом доме ткут рогожи, запахом мочала пропиталась одежда учеников.

Старший Павел Кочев тоже франтил, носил галстук. У него были темные усики. Лицо одутловато и румяно. Федосья, жена его, усадила Малышева в передний угол. Здесь же вертелась белоголовая Сима, останавливалась около одного гостя, другого.

Наконец забралась на колени к учителю.

Фельдшерица Стеша Лапина, застенчиво улыбаясь, помогала хозяйке принимать и усаживать гостей. Рослая, с красивой широкобедрой фигурой, она вся дышала деятельной добротой. Конюх Семен Немцов нетерпеливо потирал руки.

Невозможно сразу запомнить все имена. Иван внимательно вглядывался в лица.

Братское чувство к этим людям наполнило его сердце. Он им верил. Да и трудно было в ком-то усомниться: все так жадно и доверчиво смотрели на него. Немцов порывисто оделся и сказал:

— Покараулю у окон…

Мест не хватало. Некоторые гости уселись на полу.

Павел взял с колен Малышева Симу, спустил на пол. Девочка спряталась под лавку, зарывшись в мочало, притихла.

Люди придвинулись ближе к столу.

— Почитаем мы в следующий раз, товарищи, — начал Иван. — Сегодня я расскажу вам о событиях этих лет.

— Правильно. Тогда нам и в книжках все будет ясно, — Евмений закашлялся, хватаясь за грудь: — Кое-что и мы слыхали… Но мало…

В полной тишине говорил Иван. Никто не шевелился. Мужчины молча курили. Стеша, не мигая, зачарованно смотрела на учителя.

В избе накурено. На минутку открыли дверь.

— А книги-то где хранишь, Иван Михайлович? — спросил кто-то.

Малышев уклонился от ответа, пожал плечами.

Братья Кочевы в голос сказали:

— Давай литературу нам, сохраним.

— Уж будь покоен.

— Но я должен взять часть для Махнево. Соседей забывать нельзя.

— Побывал там?

Иван снова уклонился от ответа, неопределенно произнес:

— По воскресеньям туда удобно ездить.

В этот же вечер он передал Кочевым часть книг. В следующие дни незаметно опорожнил свои чемоданы.

Раза два Малышев видел, идя по селу: за ним брел бородатый человек с висячим красным носом и опущенными плечами, но не придал этому значения.

Федосья Кочева сшила из холста мешочки: их нагрузили книгами, запрятали в снег.

На святках в дом ко вдове Новоселовой пришли ряженые в вывороченных шубах, с бородами из пакли, с румянцем из

свекольного сока. Один из них бил в сковородку, другие плясали под резкие однообразные звуки. Хозяйка, вздыхая, наградила их грошиками и пряниками. Ряженые ушли в соседний дом.

Малышев тотчас побежал к Кочевым, закричал с порога.

— Какая неделя сейчас?

— Ну, святки.

— Ряженые ходят… Пошли и мы.

Кочевы весело засуетились. Федосья извлекла из чулана шубы, цветные опояски, принесла ворох кудели. Нашлась где-то лохматая маска медведя. Иван примерил ее.

Прибежала Стеша, задохшаяся, бледная.

— Скрылась от своего. Опять нализался.

Узнав об их затее, оживилась, потребовала наряда и для себя.

Иван посмотрел на нее с восхищением: выданная замуж насильно за пьяницу, она не опустилась, не озлобилась.

— Надо так, чтобы не узнали, — весело говорила Стеша. — Голоса менять! Пищать, а не говорить.

Через полчаса никого нельзя было узнать. Наряженные в вывороченные шубы, опоясанные цветной широкой тесьмой, все, даже женщины, с бородами, с измазанными лицами.

На улице навстречу ряженым попался Немцов, поймал Стешу, вывалял ее в снегу. Та, оберегая бороду, кричала:

— Оставь, Сенька!

Потом вдруг оробела, протянула руки к Семену, собираясь что-то сказать и не решаясь.

Семен прошептал, дыша прерывисто и громко:

— Подождите меня… лицо сажей намажу. Шубу выворочу, догоню.

Ватага в шесть человек ввалилась в первый дом от школы.

— Ряженые! Бабы, не спите, — кричала с печи старая женщина.

Выскочили из горенки две молодушки, с полатей опустил голову парень. Федосья била в сковородку, Евмений по кругу водил на веревке «медведя», пел басом:

Как по речке, как по быстрой,
Становой-то едет пристав,
А за ним — письмоводитель,
Страшный вор и грабитель…
Горе мам, горюшко, великое горюшко!

«Медведь» неуклюже топтался под песню, «грыз» веревку, несколько раз перевернулся через голову и снова принимался топтаться на месте, рычал. Порой Иван дергал шнурком,

протянутым под рукавом, и тогда пасть «медведя» открывалась и снова закрывалась, щелкая.

Парень хохотал, молодки хлопали руками.

— Ай же! Про писаря-то верно! Еще бы про перышко, что за ухом таскает.

— Хорошо! Так их!

Хор получился слаженный, сильный.

В каждой избе ряженые пели и танцевали, «медведь» топтался, вырывался, рыча, пытался обнять женщин, а то принимался плясать вприсядку. Дети визжали, дразнили его. Восторгам, взвизгиваниям не было конца, когда Евмений просил «медведя»:

— Мишенька, сосчитай до пяти! — и тот топал мохнатой ногой пять раз.

— Он у меня ученый: и петь умеет, и стихи говорит… — хвастался Евмений. — Ну-ка, Мишка, скажи нам, чем же Русь славна?

«Медведь» прорычал:

Несчастьем, жизнью колкою,
Романовым Николкою,
Развратницами Сашками,
Расшитыми рубашками,
Полнейшею разрухою
И царскою сивухою.

— Верно! Еще Удавушкой-свинухою! — выкрикнул взъерошенный старик, сидевший на лавке, в восторге хлопая себя по колену.

Молодая корявая женщина прикрикнула на него:

— Помолчи, тятенька! Может, они выведывать пришли? А ну-ка, вы, уходите с добром! Идите-ка!

…Свободного времени у Ивана было все меньше. По вечерам он устраивал в школе читки Некрасова, Успенского, Толстого.

Все больше приходило на них людей.

Аглая Петровна как-то сдержанно спросила:

— Куда вы хотите вести фоминских крестьян?

Иван удивленно развел руками:

— Я вас не понимаю.

— Зато я давно поняла, что вы такое, господин Малышев. Вы говорите крестьянам о несправедливости и зовете к борьбе. Вам нужно, чтобы все блага земные были разделены поровну. Зачем вы смущаете народ? Мы здесь жили дружно. Никаких противоречий между людьми у нас не было.

— А с Удавом тоже дружно жили? — спросил Иван.

Не отвечая ему, Аглая Петровна продолжала:

— Будет время, крестьяне сами соберутся в общины. Но не нужно никакого уравнивания. Вас губит, что вы делите людей на классы. Ну какие в деревне классы?

— Вы заблуждаетесь, Аглая Петровна. Ваши мысли — это мысли эсеров. Это вас здорово далеко заведет.

Аглая Петровна вспыхнула и посмотрела на него злыми глазами.

Иван после этого разговора потерял интерес к своей начальнице, но стал осторожен.

«Ошибаюсь я в людях, — вывел он. — Ведь мне вначале показалось, что она знает жизнь. Всех уравняла: нет ни кулаков, ни Удава, ни писаря, нет и бедноты».

Читки в школе он не прекратил. На них приходила и Аглая Петровна, слушала, молчала.

«Надувает зоб, эсерка», — думал Иван и торопился скорей рассказать крестьянам все, что знал о партии эсеров, насторожить их.

Вот и фоминский священник появился на уроках Малышева. Седобородый, костлявый, в суконной потрепанной рясе, он молча уселся за стол рядом с учителем. Темные, колючие глаза его впивались в лица учеников.

После звонка священник дружелюбно попенял:

— Слухи о тебе, господин учитель, идут дурные: сборища в школе устраиваешь, в храме божьем тебя не видать. В Махнево вот каждое воскресенье зачем-то таскаешься. Ты еще — вьюнош. Наставить тебя некому. Приходи в церковь, успокой Аглаю Петровну… И ко мне в дом милости прошу, вот завтра, после обедни, и приходи. У меня в доме женское общество найдется.

Иван слушал, полузакрыв глаза. Вспомнилось Верхотурье, храмы, испуганные глаза богомолок.

Он поблагодарил, избегая прямого отказа, но ни в церковь, ни в дом попа на другой день не пошел. Хотелось побыть одному. Иван с утра направился к реке.

Дома́ заиндевели. Мороз клубился туманом. Солнце искрами рассеялось по сугробам. На снег больно смотреть — сверкал. Следы птиц на нем, как строчки. Но и те оборвались, словно птицы зарылись в теплый снег. Кедры, скованные стужей, потрескивали. Ветки берез синели, как серебряные, и ветер не мог их пошевелить.

Кругом — ни души, кроме мужика с висячим носом, который шел следом за Иваном, да и тот скоро отстал.

На реке Малышева догнали Евмений и Стеша. Сзади бежал

Семен Немцов, окликая:

— Степанида Ивановна… Стеша!

Женщина отстала.

До Ивана Михайловича донесся ее дрожащий голос:

— От мужа не уйдешь… Отказываю я тебе, Сеня… Он без меня пропадет, а я, может, его человеком сделаю. Не зови ты меня.

Немцов упрекал ее, сердился:

— Слезы-то твои лукавые…

Евмений то и дело кашлял.

— Тебе лечиться нужно! — сказал Иван.

— Не умру. Я за тебя беспокоюсь. Что-то Реутов стал часто бегать за тобой. Вот мы и вышли на выручку. Поберегись!

— Это тот, с висячим носом?

— Именно, с висячим… — рассмеялся Евмений.

— Я не боюсь. Вот придумал я… Нам нужно посиделки посещать… Там слово-два сказать.

В тот же вечер Иван, Евмений и Семен с гармошкой пошли на посиделки. Навстречу им из дома лилась песня. Ее стонущий мотив был знаком с детства. Когда они вошли, девушки и парни оборвали песню, неловко смолкли. Иван сказал весело:

— Мы на песню, как на огонек, к вам зашли, а вы замолчали.

— Милости просим.

— Лучше вы нам песню скажите, говорят, много их знаете, — раздались в ответ нестройные голоса.

— Хорошо! — согласился Иван. — Я вас научу песне! — и вскинул голову:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно…

— Ай, песня хороша!

Немцов, усевшись на лавку, быстро подобрал на гармошке напев. Под его пальцами — ширь, жизнь. Гармонь будоражила, вызывала дрожь в сердце.

У печи стоял такой же станок, как у Кочевых, так же пахло мочалом, весной. Рыжая девушка, сидя на скамье, раздирала широкую полосу мочала на тонкие пряди, развешивала их на шнурок, протянутый от печи к окну. Другая, красивая и строгая, опустила руки и слушала, не отрывая глаз от Ивана. Девушки закраснелись, любуясь им.

В роковом его просторе
Много бед погребено…

И он знал, что песня хороша, и поет он хорошо, и сам он в этот час хорош, и все сегодня ему удается.

Когда Немцов сдвинул меха, долго еще хранилось молчание. Потом враз о чем-то заговорили, зашумели.

Немцов заиграл кадриль.

— Эх, девочки-припевочки мои, спляшите, потешьте! — Немцов не мог обходиться без прибаутки или поговорки. Глаза его смеялись, и лицо лучилось лукавством, удалью.

Девушки побросали рукоделия, стали в пары. Иван, подхватив строгую ткачиху, закружился вместе со всеми. Перебегая с места на место в сложном танце, выделывая разные коленца, приседал, кланялся и снова подхватывал свою подругу, легко приподнимал ее, стремительно кружил. После танца снова все чинно расселись по местам, отдыхая.

Две девушки в углу продолжали прерванный кадрилью разговор:

— Как заполыхает, как заполыхает, сразу с десяток изб занялось. Батюшка, говорят, с иконами на огонь пошел.

— А я слышала, что их обокрали. Весь непочат урожай взяли, до зернышка.

Малышев, стараясь понять, о чем говорят на посиделках, подвинулся ближе:

— А вы не слыхали, на Кушве большое крушение поезда было?

— Ой, нет, не слыхали!

— Расскажи, учитель.

Иван начал плести, сколько убитых и раненых, сколько вагонов сгорело от столкновения. Он понял: здесь говорят только о необычном.

— Много людей погибло. И дети, и женщины. Ну да русский народ к этому привык. Еще в пятом году… Разве кто-нибудь людей жалеет?…

— А что в пятом году? Расскажи, учитель.

Целый час в напряженной тишине звучал его голос да слышались вздохи девчат.

Ивана провожали до дома под гармошку. В морозном воздухе далеко неслись девичьи песни.

Все легче становилось Малышеву работать в кружке. Выбрали уполномоченных для связи, пропагандистов. Часто одновременно шли занятия — открытое чтение в школе, разбор программы социал-демократической рабочей партии на квартире кого-нибудь из кружковцев.

Иногда разучивали вполголоса революционные песни.

…Вечер длинный, ночь тягучая. За окнами мороз. Печь в избе Кочевых дымила, от этого и от огня трехлинейной лампы тусклый чад поднимался к потолку.

Иван охрип, язык его онемел — столько приходилось читать вслух! Но читать Ленина он хотел сам. Слово, одно слово могут украсть, прочесть не так, и не все поймут ленинские большие мысли.

> «Рабочие говорят: довольно уже гнули спины мы, миллионы рабочего народа! довольно мы работали на богачей, оставаясь сами нищими! довольно мы позволяем себя грабить! мы хотим соединиться в союзы, соединить всех рабочих в один большой рабочий союз (рабочую *партию*) и сообща добиваться лучшей жизни. Мы хотим добиться нового, лучшего устройства общества: в этом новом, лучшем обществе не должно быть ни богатых, ни бедных, все должны принимать участие в работе. Не кучка богатеев, а все трудящиеся должны пользоваться плодами общей работы… Это новое, лучшее общество называется *социалистическим обществом.* Учение о нем называется *социализмом.* Союзы рабочих для борьбы за это лучшее устройство общества называются партиями *социал-демократов*… И наши рабочие вместе с социалистами из образованных людей тоже устроили такую партию: *Российскую социал-демократическую рабочую партию».*

Евмений взволнованно воскликнул, ударив себя по колену:

— Наша партия!

С улицы послышались звуки гармошки: Немцов предупреждал об опасности.

Один за другим кружковцы тихо выходили из избы, исчезали через огород в переулок, в снежный замет.

Немцов ожидал Малышева на углу.

— Филат Реутов в окно заглядывал. Вот попадется мне, я ему покажу! А потом… уеду отсюда. Уеду на Север… Поищу, где чужую бабу забыть можно. На людей посмотрю.

Малышев рассмеялся:

— Здорово! Здесь тебе не люди?.. А на чужих баб заглядывать — у тебя видно в крови…

— Нет, Иван… Одну, но такую, как Стеша, хочу найти…

— Ну, пока найдешь, успеешь съездить в Махнево. Отвезти нужно один пакет… Предупреждаю: дело серьезное. Накроют, посидишь за решеткой.

— Не пугай. Хоть каждый день буду возить… Знаю, для чего.

Увидев вышедших из-за угла людей, они враз слаженно запели.

Вслед им раздался визгливый мужской голос:

— Политиканы идут!

VIII

Масленицу в Фоминке справляли широко. В каждом доме стряпали пельмени, пекли блины, пили брагу. Молодежь строила горки-катушки. С утра до вечера катались на санках. Люди позажиточней запрягали лошадей в расписные кошевки, подвешивали под дугу бубенчики и катались — на зависть другим.

По вечерам пьяные парни у катушки дрались, рвали друг другу губы. Слышались визг, треск выламываемых заборов.

Иван на кружке, хитровато прищурясь, сказал:

— И нам бы покататься…

— У Лавриенко нашего — лошадь. У Краюхина — лошадь. У Лаптева… — подсчитал Павел.

— Немцов школьную запряжет. Вот и две кошевы.

— В гривы ленты вплетем!

— Девок, парней от катушки по очереди катать будем…

— Ты, Емка, — холостой, Немцов — холостой…

— И ты, учитель, холостой! Не вздумайте «Чем Русь славна» петь. Писарь с Удавом до сих пор ищут, кто на святках это пел, — смеясь, предостерегала Стеша.

Немцов смотрел на нее исподлобья.

— А может, ты со мной поедешь? — спросил он ее.

Женщина вздохнула:

— А меня ты тоже агитировать хочешь? Я только место в кошевке зря займу.

— Я скажу тебе: Стеша, дорогая, сердце ты мое вынула! — Немцов подвинулся к ней ближе.

— Смотри, я обратно его задвину…

Набрав полную кошеву девушек и парней, Иван важно уселся на передке, лихо присвистнул на лошадей.

Девушки взвизгивали от быстрой езды. Иван гнал к реке по искристой дороге, время от времени оглядывался на седоков. Все разрумянились. Девичьи лица, обрамленные цветными полушалками, были хороши и свежи.

Иван крикнул париям на катушке:

— Что же вы девушек на санках катаете? Или на лошадь не заработали? Заняли бы у Удава лошадку.

Ребята засмеялись, отмахиваясь:

— Даст он… Мы ему уже несколько лет за хлеб должны.

Детей у катушек стало больше, взрослых меньше: все катались на лошадях. Драки прекратились.

…Снег начал незаметно темнеть. Дороги днем оттаивали, с крыш падали звонкие капли. Ветер посвежел, насыщенный запахом мокрого снега, прошлогодней травы, неуловимо возбуждающим и тревожным.

За учителем установилась слежка. Ухищрения Филата Реутова всех смешили.

Прятать мешочки с литературой в снег уже было опасно: вытают, выдадут. Женщины долго советовались о месте для них, наконец радостно сообщили Ивану:

— Нашли, нашли, где хранить литературу. Не догадаться ни в жизнь! Сегодня, как стемнеет, мы спустим мешок в отдушины фундамента магазина. Когда надо — вытянем. Немцов с гармошкой караулить будет…

Хозяйка выставила в этот день зимние рамы. Ночная свежесть проникла в избу.

Учитель сидел у окна, прислушивался, не раздастся ли гармошка: это будет сигналом — все благополучно.

В небе мигали звезды. За рекой, в прозрачно-мутноватом лунном свете дымилась и темнела спящая тайга. В тишине громко стучали часы. Хотелось вырвать из них звук, чтоб он не мешал.

Хозяйка в кухне говорила протяжно:

— Проходи, Филатушка, проходи!

«Филатушка?!» Уж не тот ли, с висячим носом, шпик проклятый?»

— Пройду! — писклявым голосом отозвался тот. — Тоскливо вечерами-то. А квартирант-то дома ли?

— Дома. Уснул, наверное.

— И чего он в свободное время делает?

— Все читает да пишет.

И вот запела упоенно гармошка.

Иван чуть не рассмеялся от счастья. Реутов говорил:

— Это конюх школьный Немцов завел опять. Голова большая, а безмозглая.

А гармонь, надрываясь, пела. Ивану хотелось плакать, смеяться.

«Удалось! Удалось!» И было досадно слушать, как Реутов говорил громко, почти кричал:

— Как разведет голубы-то меха, себя забудешь! Гуляет, не женится. А уж перестарок. Появились, Таисья Васильевна, такие охальники: листки и подметные письма пишут, что царя им не надо! Да я бы сам таких раздавил.

Иван понимал, что кричит Реутов, стараясь разбудить его, но упорно притворялся спящим.

Курчавились озимые. Из-за пашен всплывало солнце. Небо было видно все, словно покрывало только этот один кусок земли. Сквозь посевы еще два дня назад виднелась серая земля, а сейчас вся пашня оделась в густую поросль.

В огородах копошились женщины, копали гряды. Слышались голоса:

— С лука сеять не начинают. Посей-ка его первым — весь год будет горький!

Малышев радовался приближавшимся каникулам: обязательно нужно съездить в Верхотурье, связаться с товарищами, запастись литературой.

Внимание, с каким слушали его крестьяне, обязывало знать много и глубоко.

Все больше приходило на занятия людей.

Малышев и братья Кочевы расширяли свое влияние.

Через Тагил строился мост, далеко неслись звуки пил, словно в траве стрекотал кузнечик.

Мужики, завидя учителя, бросали пилы и топоры. Школьные читки, посиделки и слухи о том, что он «политикан», сделали его известным в Фоминке.

Сидя на бревне, Иван рассказывал о пермяках, о их революционной борьбе:

— Не только рабочие проснулись. Знаете, что рабочий — брат крестьянину. Их одинаково давят.

— Постой-ка, Иван Михайлович, помолчи… — распорядился в этот раз мужик с пегой бородой и огляделся, выдернул взглядом из толпы молодого парня: — Ты, Егорша, посмотри за дорогой. Покарауль. Я потом все тебе расскажу.

Парень скрылся, мужики плотнее придвинулись к Малышеву.

— Ну, говори… Все говори.

Тот рассказал о том, как крестьяне некоторых районов Урала начали захватывать помещичьи земли, леса, луга.

— В районе Каслинского завода башкиры захватили заводской лес. В Монастырской волости, Верхотурского уезда, крестьяне объявили, что земли, которыми они пользуются, принадлежат им, а не горнозаводчику, и отказались платить арендную плату.

Иван достал из кармана старый номер «Искры», бережно развернул на коленях, прочитал:

— «Администрация дачи графа Строганова начала борьбу с порубками в лесах. Крестьяне громадной толпой двинулись, лесную стражу разогнали. В результате восемнадцать человек сидит в Перми, остальные по уездным тюрьмам…»

Малышев пытливо оглядывал толпу:

— Все уже понимают, что если у них отобрать землю, леса и небо, то жить нельзя. А у нас здесь Кислов задавил людей… а Филат Реутов шпионит… Сколько вы им должны?

— Да что там! Работаем от зари дотемна за долги!

— Начнем и мы. Большой путь с первого шага начинается, — заговорили мужики.

…Первое мая. С верховины текли ручьи, умывая землю. Речки вздулись, тайга струила хмельной запах. Летели косяками птицы.

Дети кричали:

— Весть несут! Весть несут!

Костлявые коровы бродили по дорогам.

По реке Тагилу шли лодки одна за другой, переполненные людьми. Кое-кто крадучись пробирался берегом, углубляясь в лес.

Было приятно Ивану и жутко от сознания, что делаешь что-то опасное и вместе с тем хорошее.

Пикеты — неожиданно возникающие из кустов парни — у каждого спрашивали пароль. На поляне, у костра, слышались голоса:

— Вот он, Иван-то Малышев!

— Это он…

— Совсем молодехонек!

— Ему верьте!

Эти слова обязывали. Сердце переполняла надежда.

Вскинув голову, Иван произнес:

— Товарищи!

На поляне стало тихо, точно и люди, и высокие кедры сдвинулись ближе, образуя плотный круг.

— Цель у нас с вами высокая, благородная… И чтобы ее достичь, надо понять, что силой мы будем тогда, когда объединимся!

В глазах людей он видел: его понимали, ловили и разделяли его мысли.

Сорвав с себя красную косынку, Стеша взмахнула ею и затянула:

Смело, товарищи, в ногу!

Кочев Евмений выкинул красное полотнище, и оно зашелестело над головами. В голове Малышева забилась радостная мысль: «Начали! Начали!»

Люди пели:

Все, чем держались их троны,
Дело рабочей руки!

На каникулы Иван уехал домой.

Молча смотрел он на мать, обняв ее за плечи. Ссутулилась, подряхлела Анна Андреевна. Губы ее высохли, собрались оборочкой. Теперь ее лицо напоминало Кирилла Петровича. У того тоже рот был собран в мелкие складки, как будто бледно-розовый цветок гвоздики.

В день приезда Иван направился по любимым местам — к Туре, к Кликун-Камню. Но что-то беспокоило его. Раза два оглянувшись по сторонам, он заметил притаившегося за углом высокого человека в соломенной шляпе.

«Понятно… Маевку в Фоминке помнят».

Верхотурье менялось. Ощущение, что дома врастали в землю, а улицы становились уже и короче, каждый раз в последние годы огорчало Малышева.

В гору поднималась девушка. Ведра, полные воды, на коромысле клонили ее к земле. Красивое чернобровое лицо искажено напряжением, покрыто потом.

— Помочь вам?

Чернобровая метнула на Ивана злой взгляд и прошла мимо. Но к ней немедленно подскочил человек в соломенной шляпе:

— Что он тебе сказал?

«Тоже! Такого верзилу следить за мной заставили: его за версту видно! — Иван ворчал на себя: — А я-то — хорош! Хотел помочь девушке! Да ее родители изобьют: на людях с парнем остановилась. Неволя, неволя и порабощение на каждом шагу. Порабощение и ханжество! И долго, очень долго от этого человеку не освободиться! Даже когда мы свергнем царя, полное освобождение людей придет не сразу. Начнется другая борьба. Борьба за человека, за его выпрямление, за освобождение от вековых привычек, от предрассудков. И кто знает, не будет ли та борьба труднее этой?!»

К Кликун-Камню Малышев не пошел, чтобы не показывать верзиле место собраний. Повернул к дому. Шпик, прикрываясь шляпой, следовал за ним по пятам.

У Маши заплаканы глаза. Иван увлек ее в огород.

— Что с тобой, сестра?

— Ничего, — сквозь сжатые зубы произнесла она. А глаза медленно наполнялись слезами.

— Нет, ты мне скажешь, дорогая.

Маша покачала головой. Все они такие, Малышевы: бодры,

веселы, откровенны, только в горе замыкаются, уходят в себя, чтобы не ранить никого.

Встревожила Ивана Михайловича и мать. Она что-то знала, ее глаза испуганно следили за дочерью.

— Что с сестрой, мама?

Анна Андреевна вздохнула:

— Да ничего…

— Нет, мама, ты знаешь… скажи…

Мать всхлипнула:

— Не хотела я тебя тревожить, Ваньша.

Внутренне сжавшись весь, он уже не просил, а требовал:

— Говори.

— Полюбился ей парень один, наш, верхотурский. Да и она ему, видать, тоже. Давно это тянется. Осенью еще в прошлом году его женить хотели. Полгода отказывался, Машу называл: с ней, дескать, хоть сейчас в церковь. А старики — против. Присмотрели, вишь, ему богатенькую. А недавно вот и женили. Прибегал к нам он, в ногах у Маши валялся, а она, знаешь ведь, со смехом этак ему и сказала: «Поднимись, я ведь тоже другого полюбила!» Поднялся он и ушел. А она — реветь. Спрашиваю: «Для чего наврала?» — «Чтоб, говорит, ему легче переживать было». А сама вон — окаменела. На улицу не выходит. Все в огороде. И вышивание бросила.

Чтобы отвлечь сестру от горя, Иван попросил ее переписать отдельные ленинские брошюры, программу РСДРП. Программа была у Ивана, переписанная его рукой, но ее он подарил отцу.

Часто Иван говорил с Машей по азбуке глухонемых, напоминая первую фразу, сказанную ею знаками:

— А небо-то какое красивое!

Внимание и забота брата успокаивали. И все-таки однажды Маша заявила с обидным спокойствием:

— Поеду обратно, в школу. С глухонемой позанимаюсь.

Ее не удерживали, понимая, что здесь ей тяжелее.

Вскоре уехал и Иван.

Снова знакомой дорогой везет его степенная лошадка. Только встретил его теперь другой конюх: Немцов выполнил свое намерение и уехал в Березовск.

Новый конюх, седобородый старик, всю дорогу зевал, крестил рот и молчал, время от времени бросая косые взгляды на чемоданы, которые еле взвалил на телегу.

— Это верно, что ты политикан? — неожиданно спросил он.

— А что это значит?

Старик долго молчал, затем так же хмуро пояснил:

— Ну-у, значит, против царя и бога и совести.

— Нет, не верно. Против совести я не иду.

Иван Михайлович думал о том, что Машу незаслуженно обидела жизнь, что хорошо бы им работать вместе, что отец седеет, мать сутулится… оба глядят печально и скорбно. И жаль, что не будет в кружке веселых прибауток Немцова, не будет гармошки, не будет рядом товарища по борьбе.

По мере приближения к Фоминке Малышев успокаивался. Все радовало его. В молодых побегах хмеля плясала мошка. Еще недавно безжизненные сучки деревьев цвели зеленью, почки налились, как любопытные глазки.

Сердце всколыхнулось при виде первых домов Фоминки. У околицы, напротив дома Кочевых, Иван попросил возницу остановить лошадь и подождать.

Братья выскочили навстречу, вмиг перенесли чемоданы во двор.

Пока они выгружали книги, Иван громко говорил им, как бы сопротивляясь:

— Да куда вы чемоданы поперли? Я хочу хозяюшку мою скорей повидать… Отдайте мои чемоданы. Я после к вам зайду.

Пустые чемоданы Кочевы опять поставили на телегу.

Кучер равнодушно смотрел на их возню.

Хозяйка не ждала Ивана:

— А я думала, что успею до тебя и огород убрать.

— Вот я и приехал, чтобы вам помочь.

Конюх схватился за багаж и только тут с подозрением посмотрел на учителя: чемодан легко взлетел в его руке.

Толкнув чемоданы под кровать, Иван сказал:

— Таисья Васильевна, я убежал. Приду к обеду.

Широкой размашистой походкой Малышев направился к Кочевым: нужно проверить, как они распорядились литературой.

Когда он вернулся к обеду, все в доме было перерыто, навстречу ему жандармы выносили связки записей и дневников. Его заставили подписать протокол.

Хозяйка, злобно глядя на квартиранта, кричала.

— Змею какую пригрела! Опозорил дом!

— Да, попался теперь на голый крючок, — вторил ей Филат Реутов, который топтался посреди избы, торжествующе потирая руки.

«Вот так… поздравляю тебя с хорошей погодой!…» — мысленно сказал себе Иван и горько усмехнулся.

IX

В Верхотурье мимо родительского дома к тюрьме Иван прошел ночью.

«Хоть бы в окно постучать…»

Окна были темны.

«Рано отец лег спать. Интересно, прочитал ли программу?…» — Иван представил, как отец достает рукопись из-за икон, как развертывает ее, досадует, не все понимая…

Встали в памяти давно отзвучавшие слова отца: «Фармазоном не вырасти…» Самые неожиданные мысли приходили Ивану в голову. «Слышны ли мои шаги у Камня-Кликуна?.. За маевку со мной расплачиваются или кто донес? Нужно как-то сообщить о своем аресте семье. — Мучила неуверенность: — Что могут в охранке знать? — Перед ним промелькнули лица фоминских кружовцкев. — Верю. Никто не предаст. Жаль, не дали поработать! И все-таки в Фоминке теперь уже есть свои пропагандисты… В Махнево десяток…»

В тюрьме его вежливо расспросили об имени и занятиях, отвели в одиночку.

В камере на столе, привинченном к полу, лежало Евангелие.

Иван небрежно полистал страницы, усмехаясь про себя: на курсах их заставляли заучивать целые главы Евангелия. Тогда он ничего в нем не понимал, в голове от «святой» книги стояла страшная путаница. И сейчас Иван, перелистывая страницу за страницей, читал, стараясь вдуматься в смысл. И снова усмехнулся невесело: «Читаю Евангелие. Просвещаюсь! А на воле идет борьба! Там нужны люди!»

Но «просвещался» он недолго. Через несколько дней его снова куда-то повели по родным улицам. «Вон на горке наш дом! Хоть бы кого-нибудь увидеть из своих. В семье могут потерять меня…»

Тяжела покорность. Тяжело отдаваться чужой воле.

Соседка от своей калитки увидела, бросилась к дому Малышевых. Выскочила простоволосая мать, кинулась к сыну, но рыжий лупоглазый конвойный отбросил ее в сторону.

— Не плачь, мама! Все будет хорошо! Передай отцу, пусть чаще на божницу взглядывает!

Анна Андреевна отозвалась:

— Бога тоже потревожили!

Иван понял: был обыск, программу партии в тайнике за иконами нашли. Он похолодел: неужели и отец арестован?!

Рыжий конвойный ткнул прикладом в плечо.

— Рукам волю не давай! — крикнул Иван.

Конвойные, переглянувшись, мстительно улыбнулись.

— В Николаевских ротах покричишь не так!

Николаевские роты! Шлиссельбург в Нижней Туре!

Его втолкнули в теплушку. Проскрипел засов.

Иван забился в угол вагона, томимый тяжелыми предчувствиями. Вспомнилась Пермь, избиение. «Тогда мне было труднее… Тогда я не знал, за что меня взяли. А теперь я знаю, — думал он. — И там, в Перми, мне сказали, что я — сила! Сейчас мне не должно быть страшно!»

От станции Выя поезд, пройдя верст двенадцать, свернул к казенному Нижне-Туринскому заводу.

Тюрьма помещалась в зданиях бывшего николаевского орудийного завода. «Почему тюрьма носит название Николаевских рот? По названию орудийного завода или… Известно только, что эти роты — жестокое, кровавое дело».

Тюремные корпуса обнесены тыном из бревен, заостренных вверху, стоявших вплотную один к другому Рядом с воротами несколько деревянных домов для конвоя и надзирателей. От тюремных бараков веяла холодная угроза. Лес. Тишина.

Тяжелые ворота надсадно заскрипели, пропустили арестованного и сомкнулись. Тишина точно специально была придумана, чтобы внушить заключенным страх.

По лесенке вниз выстроились надзиратели. Все в одинаковой форме. Синий яркий кант на брюках, синий шнур, свисающий от кобуры револьвера, все на одно лицо. Ударами кулаков они начали перебрасывать Малышева друг к другу. Встречными ударами не давали упасть.

Пахнуло холодом и тлением. Стены — голый камень, покрытый плесенью.

Мелькнул перед глазами ушат, наполненный водой с пучками розог.

Его били нагайками, ключами от камер. Он подавлял крик, кусал губы, стонал. Казалось, сотни ног терзали его тело. Иван закрывал лицо руками. Били по рукам.

Очнулся ночью на сыром земляном полу. Тело горело и, казалось, не принадлежало ему. Пересохло во рту.

Какая-то неясная мысль тревожила сердце. Он не мог уловить ее и все шептал:

— Все равно мне не страшно! В Перми было страшно… а здесь — нет… Я знаю своих врагов…

Мысли все теснее переплетались в сознании: «Забьют? Жалко, что я так мало сделал. Что я сделал? Надо, чтобы и смерть моя стала сигналом протеста! Привязать себя к койке полотенцем,

облить керосином из лампы… Обмануть надзирателей… Сжечь себя, да ведь здесь и лампы нет… Выжить! Выжить! Бороться с ними!»

На другой день Иван встретил своих мучителей без страха, только ненависть к ним до боли теснила сердце.

Вновь его оставили без сознания. Когда очнулся в темноте, спросил:

— Значит, я еще жив? — и не обрадовался этому и не опечалился. Ему было все равно: он был уверен, что его убьют, и готовился к смерти.

И опять нахлынули воспоминания о Перми. Первый арест. Слезы стыда. Иван удивился тому, что теперь не стыдно. А может быть, все это сон?

Карцер — аршин в ширину, полтора в длину. Выпрямиться нельзя, вытянуть ноги или сесть — тоже. Поджав ноги, Иван полусидел. Голова его сваливалась. Он понимал, что сюда его привезли не для того, чтобы он жил. А время бесконечно протяжно. Казалось, ничего нет на свете, кроме времени.

Он силился вспомнить что-нибудь хорошее и не мог, словно сгорели чувства, воля думать и жить. Перед глазами мелькали лица родных — матери, отца, сестры. Он шептал разбитыми губами:

— Мне легче, меня убьют… — и стонал: — Мама, перенеси!

От мертвой тишины звенело в ушах. Тишина давила. Сколько это может продолжаться? Что-то должно произойти! Что-то должно произойти! Скорей бы!

Он хотел умереть. Откуда-то выплыли слова: «Тюрьма, милок, это временное препятствие для нас, революционеров!» Ах, дядя Миша, родной! Ты меня жить зовешь! Ждать зовешь и выдержать зовешь! Я нужен! Нужен!»

Это был толчок для воли. Он должен выдержать. Он выдержит!

…Его снова куда-то потащили. Обласкала волна свежего воздуха. Солнечное небо шаталось над ним.

Очнулся он не в карцере на этот раз, а в общей камере. Какие-то люди хлопотали над ним, поили водой, прикладывали к ранам примочки.

Пахло гнилью, зловонием.

— Кто ты? — спросили его.

— Учитель.

— За что тебя?

— Не помню…

Иван закрыл глаза. Люди перестали допытываться.

— Молчун… — услышал он шепот.

— Пить…

Над ним склонилось заросшее лицо с лукавыми и теплыми глазами. Иван напился и отвернулся.

Люди собрались кучкой у зарешеченного окна и читали. Иван подремывал под монотонный, приглушенный голос чтеца и вдруг вздрогнул, разобрав знакомые слова. Ленин! Они читали Ленина!

Они заспорили о чем-то, Иван не слушал, весь поглощенный радостью: в камере читали Ленина.

— А вас били? — неожиданно спросил Иван. — И разве разрешают здесь читать Ленина?

— Очнулся! — заключенные окружили его. Их было человек пять.

— А ты откуда знаешь Ленина, такой молодой?

Маленький бледнолицый арестант с шумом закрыл книгу, показал обложку: на зеленом коленкоровом переплете стояло: Евангелие. Они переплели книжку Ленина в обложку Евангелия!

…Несколько дней близости с этими людьми преобразили Ивана. Однажды, все еще лежа на нарах, разнеженный общим вниманием, он тихонько запел:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно…

Товарищи, присев около него, подтянули припев.

И то, что он поет, что голос звучит бодро, наполнило его радостью.

В двери громко открылся глазок. Раздался грубый голос надзирателя:

— Прекратить пение!

Все посмотрели на глазок и почему-то рассмеялись, будто им никто не мог помешать петь. Но пение прекратили.

— Почему эта тюрьма называется «Николаевскими ротами»?

— Это еще Николаю Первому показалось мало обычных острогов. Он расширил устав тюрьмы, часть тюрем военизировал, для отдельных тюрем создал арестантские роты. Начальство — офицеры. Они и ведут «воспитание» заключенных. Избиения — обязательная мера. Арестанту пощады нет. Даже боевые патроны есть у караульных.

— А мне говорили еще в Перми, что можно прокурора вызвать… — задумчиво сказал Иван.

— Прокурорский надзор — далеко, не вызовешь. И не пытайся, друг, они отчитываются только перед комендантом крепости, а тот все их дела одобряет. Даже начальник тюрьмы на

вызов не приходит. Только озлобишь еще больше этих… А зачем терять силы?

Время не торопится. Но товарищам некогда. То и дело вспыхивают споры:

— Ты изучал «Историю культуры» Липперта?

— Да, и Маркса — «Труд и капитал».

— Рассказывай. Кто еще что изучал?

— У меня — Базаров и Скворцов «Краткий курс экономической науки».

Иван забыл о боли, радуясь, что попал сюда: «Да это же школа!» С веселой жадностью он включился в занятия.

— Здесь и Яков Михайлович… «Андрей» сидел.

— Уважаемая тюрьма… А какое у тебя, соловей, партийное имя?

От ласкового слова «соловей», как иногда звал его отец, стеснило дыхание.

— Так какое же партийное имя?

Иван быстро ответил: «Миша»… и подумал: «Дядя Миша, дорогой мой крестный! Вот только товарищи из Фоминки и знать не будут, что это — я. Как-то они там? Удалось ли спасти хоть часть литературы?»

Он и не знал, что у братьев Кочевых и у Стеши в день его ареста был обыск. Только литература покойно висела в мешочках в подвале казенного магазина.

Не знал Иван Михайлович и того, что фоминцы собрали около сотни рублей, запекли в хлеб и поехали в Верхотурье, чтобы передать ему. Но в тюрьме его уже не было. Иван об этом и не узнал бы, если бы не вопрос следователя:

— Сколько в Фоминке людей состоит в вашем кружке?

— В каком кружке?

— Забыл? А в том, который деньги для тебя собрал.

— Не получал я никаких денег, — с искренним недоумением возражал Иван. А самому от радости хотелось запеть:

«Живы друзья! На свободе! Помнят… Ах, зеленая моя Фоминка!»

— Кому же принадлежала программа РСДРП, которую на божнице у отца в доме нашли?

— Мне. Я ее для обертки тетрадей купил, подешевле…

…В ноябре Ивана выслали в родной город под особый надзор полиции.

Свобода. Глазам открылось огромное, безоблачное небо, морозный день и высокие сосны, оцепеневшие от стужи и окутанные инеем.

Иван увидел эту красоту, но она его не согрела и не

порадовала.

Бежали к монастырю верхотурцы.

Иван останавливал знакомых, желая узнать, что произошло, но те отворачивались от него, как от прокаженного, обходили стороной.

Какая-то приезжая богомолка сказала:

— Святому монастырю портрет наследника престола Алексея Николаевича прислали. В раме… С императорской короной на голове.

Иван побрел дальше, к реке. На заводях лед прозрачный, сквозь него видны камни, медленное движение рыб.

За Иваном неотступно вышагивал человек с тростью.

«Важная я теперь персона, — усмехнулся тот. — Даже портрет наследника не бежит смотреть, меня сторожит!»

Маша тоже была без работы: неблагонадежную в школу не допускали. Стражники наведывались и домой к Малышевым.

Отец невесело смеялся:

— Не дадут на нас ветерку дунуть… Берегут! Вот и наша фамилия в чести…

Маша суетливо бросалась на помощь отцу, когда тот возвращался с работы.

— Ты, Марья, не егозись. Иван да и ты много мне денег присылали… Отложили мы с матерью… Хватит пока… — говорил отец.

Иван вздыхал: мало приходилось ему присылать в дом денег: все тратил на выписку литературы для крестьян.

Мимо дома, как и прежде, проходили освобожденные из тюрьмы. Только отец теперь не покупал для них одежды:

— В доме свой арестант… Не знаю, чем накормить, во что одеть.

Это не обижало, отцу необходимо над кем-то подшучивать. Удивляло, что он стал теперь любопытен к богомольцам, пускал их в дом и все расспрашивал:

— Надеешься вымолить?

— Чего?

— Да царствие-то небесное… На земле его не добиться, так, может, там…

Снег быстро занес улицы, залепил окна. Талые, мягкие хлопья снега, похожие на перья, все падали, падали.

— Пурга лошаденку у меня к земле пригибает, — жаловался отец, возвращаясь с работы.

Ивану было стыдно: молодой, здоровый парень сидит дома, а пожилой, усталый человек вынужден работать за двоих.

Он писал друзьям в Фоминку:

«На отца смотреть больно: надо же прокормить такого лба, как я!»

Писал он им и другое:

«Веры в царя нет ни у кого. Правители напуганы революцией пятого года. Новому закону министра Столыпина верить нельзя. Растолкуйте крестьянам: кулаки выходят на хутора и захватывают лучшие земли, да им же еще и ссуды огромные крестьянский банк дает».

Кочевы отвечали:

«Мы поняли тебя, Иван. К нам приехали три семьи переселенцев. У них исподней рубахи нет, так их разорили. Земля их ушла под кулаков».

Письма перевозила Маша.

А большевиков становилось все меньше. Слабенькие отходили, сильные сидели в тюрьмах.

X

Только в январе полиция разрешила Ивану выехать из Верхотурья. Он задохнулся от радости, сообщая об этом отцу, и смолк, впервые увидя в глазах того слезы, тревогу.

Началась бродяжья жизнь: деревня Коптяки — работа приемщиком, Филькинское лесничество. Знакомство с новым людьми, отбор надежных, кружки.

Когда уже неслось сыроватое дыхание молодой травы, Иван Михайлович попал в Надеждинск.

По утрам лилась над полянами радостная песня жаворонка. Лес праздничный, свежий. Стволы елей в солнечных пятнах, на голых еще ветках березы дрожат капельки росы.

Иван ходил по поселку, запоминал улицы, переулки, лазы в заборах.

«Значит, завод получил название в честь бывшей владелицы округа Надежды Михайловны Половцевой. Запомним, — мысленно говорил Иван. — Строился завод два года, во время проведения Сибирской железной дороги выделывал рельсы. На берегу речки Каквы — бараки рабочих. Запомним, госпожа Надежда Михайловна Половцева… Смотри-ка, и электричество есть! Даже улицы освещены! А почему же это у бараков освещения нет? Ну, у нас в барак Киприян недавно все-таки провел огонь. А у других? Почему рабочие живут так скученно, а вы шикуете в богатых особняках? А теперь еще и безработицу допустили. Рабочий день увеличивается, а вы, заводчики, стачки жестокостью подавляете, ингушей вызываете. Они носятся по рабочим поселкам с кривыми саблями, нагайками хлещут и детей, и женщин — кто попадется! И «черные» списки вы завели. А для чего? Сколько болезней среди рабочих? Сколько умирает? Недавно опять в мартеновском цехе погиб рабочий. Вас это не беспокоит? Деньги рабочим картонными жетонами заменили, лавочники и товары по этим жетонам отпускают! Не пройдет ведь вам это! Или думаете, что репрессии седьмого года нас на всю жизнь запугали? Рабочие здесь у вас в большинстве не оседлые, а пришлые. Чем их купишь? Создали рабочий кооператив? Так ведь это же обираловка! Ведь ни одного рабочего-пайщика в правлении нет! Нет, не будет у нас с вами мира. Мне партия велит рабочим глаза открыть! Могу сообщить: нас много. Мы часто ходим на речку Какву, учимся… В цехах листовки появляются. Мы откроем рабочим глаза, хоть я теперь уже не учитель, а всего лишь конторщик в мартеновском цехе… Слышите, Надежда Михайловна, поет какой-то гуляка? Нет, вы

послушайте, вам это полезно».

Действительно, хриплый одинокий голос тянул:

Он не брал громадных взяток,
Был доволен небольшим:
Кто принес яиц десяток,
Того ставил он старшим…

Малышев рассмеялся:

«Выкусили? А вы говорите, что рабочие запуганы. Правда, нам вот листовки к Первому мая печатать негде! Но мы их напечатаем! Нас много! Мы имеем литературу. Хранит ее — Федя Смирнов. Молод? Ну и что? Крепкий парень!»

Иван перемахнул широкую канаву. Извилистой тропкой по пустырю прошел к бараку, где квартировал в каморке вместе с Киприяном Ермаковым.

Из общего барака сквозь щели в некрашеных стенах проникал спертый воздух, запах лука, клопов, пота и махорки. Так пахнет нищета и скученность.

Потапыч — партийное имя Киприяна — одного роста с Иваном, круглолиц и так же, как Иван, светловолос. Только залысины говорили о разнице в возрасте. Ему трудно было поступить на завод: неблагонадежен, хоть и не боится никакого дела. Чернорабочий в листопрокатном цехе, на земляных и горячих работах и вот, наконец, — электрик. У него необыкновенный дар понимать то, что делается в сердце собеседника.

Именно он рассказал Малышеву, что дядю Мишу повесили. Иван, побледнев, вскочил с места. Говорить он не мог, только сквозь зубы бросал что-то бессвязное:

— Попомнят… Уж я это точно знаю… Попомнят…

Ермаков умолчал о подробностях. Оба они больше об этом не говорили. Ермаков жадно учился, много читал.

Сейчас, глубоко засунув руки в карманы, Потапыч в чем-то горячо убеждал Федю, зашедшего на огонек. Иван услышал последние слова: «Пугливы стали рабочие!»

Увидя Ивана, Ермаков рассмеялся:

— Сияешь ты, брат, как новая шлифовка! — сделав руку горсточкой, поздоровался: они сегодня не виделись, Ермаков уходил на работу раньше.

— А я, брат Киприян, сейчас с самой Надеждой Михайловной Половцевой говорил. Все ей высказал!

— Да ведь у тебя, Миша, вся спина исполосована! Неймется тебе? — поддерживая игру, спросил Киприян.

— Неймется, друг.

— А что тебе Половцева сказала?

— Враги, говорит, мы с вами были, врагами и останемся!

— От этого ты и сияешь?

— Всегда приятно иметь ясные позиции! А кроме того, песню я услышал хорошую!

— Молод ты… кровь в тебе играет…

— И я сегодня песню услышал… — сообщил Федя. — Вот…

Инженеру подкатило,
Паром рыло обварило,
Жалко нам, братцы-ребята,
Что всего не окатило!

Маленький срезанный подбородок и слегка вздернутые губы Феди дрожали от смеха.

— А вы говорите, рабочие пугливы! Пошли на Какву, нас ждут.

Стояло теплое безветрие. В пруду дружно рылись утки, уткнувши в воду носы. Федя бросил в них мелким камнем. Утки взмыли вверх. По пруду обручами пошли круги.

— И почему это я не все понимаю на кружке, Иван? — пожаловался Федя. — Ну, что царя свергнуть мы должны, я уже знаю, а вот… делать для революции я ничего не умею…

— Верь. Если веришь, то и умение придет… А сейчас давай-ка песню: говорить нельзя, кусты могут услышать…

И полились три голоса над сонным поселком, по нарядным берегам.

Занятия кружка каждый раз начинались с сообщений Ивана о текущем моменте… Сидя на траве вместе со всеми, он начал:

— Положение такое: у нас на Урале сейчас идут стачки. На Нижне-Салдинском заводе стачка продолжалась два месяца. Там было три смены по восемь часов. В заводоуправлении додумались: одну смену съели, а две разделили поровну. Вези, рабочий, по двенадцать часов в сутки! Таковский! А заработок уменьшили. Голодали, а не сдавались рабочие. Бастовали в Нижнем Тагиле и на медном руднике… в Екатеринбурге большевики восстановили городской партийный комитет… Все готовятся к конференции в Праге. Там будет подведен итог борьбы против меньшевиков.

После «текущего момента» Малышев повел занятия необычно:

— Сегодня мы поговорим еще и «О неизбежности социализма в России». — Он быстрым движением руки разбил сидящих кружком людей и приказал одной половине:

— Вы будете защищать нашу, большевистскую точку зрения. А вы, — обратился он к другой, — наоборот. Итак, начинаем спор о необходимости социализма… Замазываете, хотите замолчать массовый характер революционной борьбы, инициативу самих масс…

Послышался треск сучка под ногой. Все смолкли. Из-за сосен на поляну вырвался опоздавший на занятия рабочий, красивый, с русыми кудрями.

— Что случилось?

— Заводоуправление вызвало карательный отряд казаков!

Послышался ропот:

— К Первомаю, значит?

— Спокойно, — приглушенно сказал Малышев. — Продолжим занятия.

Расходились с кружка за полночь по одному, по два человека.

Иван возвращался вместе с Ермаковым и удивлялся про себя: как выдерживал Потапыч трудный режим дня? Вставал рано, работал целый день, много занимался, спал три-четыре часа. Правда, и засыпал Ермаков быстро, как ребенок, что-то бормоча во сне.

Неожиданно в Надеждинск приехала Маша. Она теперь работала конторщицей в лесничестве около Тагила. Сконфуженно краснея, сообщила, что выходит замуж. Ее будущий муж — вдовец. У него двое детей, мальчик и девочка. Живет в Тагиле.

Иван Михайлович с ласковым любопытством посмотрел на сестру.

— Любовь?

Маша отвела взгляд в сторону.

— Дети такие славные! Девочка Тоня от меня не отходит… — торопливо произнесла она.

— А как же наше дело? Отстраняешься?

— Ни за что! Но мне ведь, Ваня, уже двадцать пять. А тут я сразу — и жена, и мать… Детям-то мать нужна!

— Героизм — это, говорят, умение видеть мир таким, каким он есть, и любить его! — бросил Иван.

В воскресенье, когда охрипшие колокола сзывали людей в церковь, кружковцы, человек пять, отправились с гектографом в лес: нужно было печатать листовки. Пошла и Маша.

Голубой день подымался над землей. Низко висели облака, неподвижные, сверкающие. За мостом, по берегу Каквы, луга, пышные кустарники.

Кружковцы несли корзины с провизией, чайник.

Выбрали место, разостлали на траве скатерть; двое в кустах патрулировали. Текст листовки Малышев уже написал.

Приготовились печатать.

Однако с другого конца поляны, за кустами, раздалась песня караульного:

Снова я к родной семье вернулся,
О которой часто так грустил…

Это было сигналом: чужие.

Гектограф и бумагу спрятали в кусты. На раскинутой скатерти — закуски, рюмки, бутылки с водкой.

А песня, уже с тревожными нотами, продолжала предостерегать:

Снова в шахту темную спустился
И живым себя похоронил…

На тропе показался верховой, за ним другой. Казаки из карательного отряда!

Маша налила два стакана водки, с усмешкой поднесла казакам. Те выпили. Им налили снова. Федя Смирнов подал им по огурцу. Один из карателей тут же сполз на растрепанную траву, уснул. Маша, смеясь, взобралась в освободившееся седло, тронула коня. Пьяный каратель поскакал за ней.

Под храп казака были напечатаны листовки.

Под храп его пели песни. Иван из озорства прочитал стихи:

Скоро, скоро куртку куцую
Перешьют нам в конституцию,
Будет новая заплатушка
На тебе, Россия-матушка!

Ночью листовки были разбросаны по заводу.

После работы на другой день, возвращаясь домой, Иван почувствовал: слежка. Свернул в переулок. А шаги, осторожные, крадущиеся, — за ним. У крыльца барака на плечо его легла тяжелая рука. Обернулся. Перед ним стоял тот самый казак, который вчера ускакал за Машей.

Увидев знакомого, казак сконфуженно улыбнулся:

— Так вот ты кто — Малышев? Ну уж нет! Уж я знаю, что листовки эти разбросал не ты… Уж я так им и скажу, что Малышев не виноват!

— Да разве я позволю, ваше благородие! Да ни в жизнь!

— Я им скажу… — стражник ушел.

Навстречу Ивану из барака на крыльцо вышел рабочий в заплатанном пиджаке. Дряблые старые веки нависли над глазами. Выражение лица было страдальческим.

Иван остановился.

— Что же ты, Степан, костюм себе получше не купишь?

— Не по карману, Ваня…

— Неужели уж на костюм не заработал? — с неожиданным пылом воскликнул тот. — Вот на мне костюм разве плох? А стоит восемнадцать рублей… В Верхотурье покупал.

Степан принялся разглядывать костюм — синий, в чуть заметную полоску.

— Неужели восемнадцать? А у нас в кооперации хуже этого — двадцать два!

Иван вздохнул:

— Наценку сделали, значит… чтобы рабочий человек не забывался.

Дома Киприян спросил, смеясь:

— На ходу агитируешь?

— На ходу…

— Не даешь ты людям покою, Иван!

— Нет, ты подумай, до чего обнаглели заводчики! Людям надо все объяснить! Нам бы с тобой еще к углежогам съездить, узнать, как там живут? Не заросли бы и там у людей глаза…

…Опять падал снег, подморозило землю. Началась зима одиннадцатого года, похожая на все зимы, какие помнил Иван, но, как всегда, он не переставал дивиться свежему морозцу, мягким хлопьям снега.

Выехали в курень углежогов уже в санях. Снег ярко скрипел под полозьями, ели застыли, опушенные куржаком, как белыми тенетами. Хотелось глядеть вокруг и глядеть…

В ряд стояли томильные кучи, как курганы. Всюду поленницы дров, прокопченные сажей. Пахло дымом. И люди, черные, пахнущие дымом, сновали от сарая к сараю.

Привязав лошадь к сосне и бросив перед ней охапку сена, приехавшие направились к кучам. Неожиданно Иван остановился, задержал товарища:

— Подожди!

Из-за кучи несся женский смех и мужской приглушенный голос:

— А что вы смеетесь? Верно я говорю: утекла водица, в ручей не воротится! Ох, и много я вашего брата прозевал! Глаза разбегались! Пока оглядывался, годы прошли!

Лицо Ивана светлело, расплывалось в улыбке.

— Что ты? — начиная улыбаться и сам, спросил Киприян.

— Подожди…

За кучей продолжали смеяться:

— Как же ты, Семен, без бабы-то обходишься?

— Так ведь как? Сирота и пуповину сам себе режет!

— Он. Большеголовый… Немцов! — сказал Иван.

— Какой Немцов?

Но Иван, не слыша вопроса, бросился вперед.

Девушки при виде незнакомого скрылись.

Заросший густой бородой, весь в угольной пыли, Немцов был неузнаваем. У него белели только глаза и зубы.

— А я по поговоркам тебя узнал! Никто их столько не рассыпает, как ты! — тряся друга за плечи, заглядывая ему в глаза, смеялся Иван. — Да как же ты сюда попал, ведь ты на Север удрал?

— Надоело, знаешь, там с солью возиться! В сердце и без того соль… Сам-то ты как здесь? Ведь тебя…

Иван приложил к губам палец.

Немцов поправился:

— Ведь тебя женить хотели!

— Невеста от меня отказалась…

— Ну, опять-таки, играешь с кошкой — терпи и царапины… А как там Стеша живет, не знаешь?

— Она все в той же церкви поет.

— Верная. А в семье как у тебя? Маша замуж не вышла?

— Выходит, но боится: братишка Миша у нее на руках!

Немцов понял. Значит, Миша — партийная кличка Ивана.

Оба рассмеялись.

— Маша летом ко мне приезжала, рассказывала, что в Верхотурье большая радость: царица Александра Федоровна в дар обители пожаловала для священников ризы, стихарь, подризник, пояса да набедренники, две пары поручей и воздухов на святые дары… И все это сделано из платья ее императорского величества, в котором она была одета в день коронования!

— Несешь опять?

Семен огляделся. Около них стоял Ермаков и весело смеялся. Немцов, обращаясь к нему, сказал:

— Так уж, видно, ему на роду написано: упал в воду, так дождя не бойся!

— Ну, а ты-то как… боишься дождя или не боишься? — Иван посерьезнел.

— Так ведь привык уж…

— Здесь как, часто мочит?

— Мало нас здесь. Прячемся, как кроты, за кучами-то…

Дождик-то и не достанет…

— Яснее говорить нельзя?

— Идите к лошади. Я за вами, а то у нашего мастера одно ухо длинное…

Усевшись в сани и закрывшись шубами, все трое зашептались «яснее».

— Кооперация здесь есть?

— Мы все пайщики, — неожиданно раздражаясь, сообщил Немцов. — Ларек сюда выезжает два раза в неделю. Цены — не подступись!

— То-то и оно! Ну, ты с детства понятливый был, разберешься без нас, что делать. Гармонь-то с тобой?

— Она без меня — никуда!

— Помогает? Вот мы для нее тебе песен подбросим!

…Разговор о кооперативе в последние дни среди рабочих не прекращался. Особенно сердились женщины.

— Слышь, Лукьяновна! Что это ты от дочери из Перми сатинет ждешь? Разве здесь, в «трудовой»-то, не купишь?

— Да ведь здесь сатинет-то четыре гривны аршин, а в Перми — две гривны!

— А я башмаки здесь за три целковых купила. А послышу, в Екатеринбурге всего два целковых им цена! Вот тебе и «трудовая» кооперация!

— Обдирают нашего брата со всех сторон!

Рабочие негодовали уже открыто, требовали отчета, смены правления кооперации.

Сопротивляться этому администрации завода было невозможно: кооперация считалась рабочей.

Подпольщики старались не пропустить возможность легализовать свою работу.

В новое правление кооперации вошли они в большинстве. Иван Малышев был избран в ревизионную комиссию. Избрали до десятка уполномоченных.

В лавке с утра до ночи теперь толпился народ.

— Смотрите, бабы, жакетка-то всего пять рублей, а я, дура безмозглая, семь отдала, хоть реви! Целый год на нее копила!

— Ну, теперь цены божеские!

Иван, радуясь вместе со всеми, думал:

«Дали бы нам подольше поработать, тогда бы мы доказали, все поняли бы, как заводчики надувают рабочих».

Долго работать им в кооперации не дали.

В один из вечеров Иван разбирал литературу, полученную из Перми, и ждал Федю Смирнова, чтобы сдать ее для распространения по списку. Список на тонкой папиросной

бумажке лежал перед ним. Услышав шаги, он спросил:

— Что долго, Федя?

Подняв голову, немедленно скомкал список и взял в рот: в комнату вошли два полицейских, стремительно подскочили к столу, начали разглядывать книги по корешкам:

— Так-так… Чернышевский… Герцен… Издания «Донской речи»… Взять! — и сшибли книги в мешок. Иван, стараясь проглотить список, с тоской думал: «Хоть бы Федя не приходил! Ах, хоть бы он не пришел сейчас!»

Федя пришел. Один из жандармов стал у дверей. Федя тяжело опустился на табурет. Иван одобряюще улыбнулся: у парня первый арест! Где-то в глубине заныло: «Хоть бы не в Николаевские роты!»

С улицы послышался грозный окрик:

— К кому?

И голос Киприяна:

— Монтер я… вызвали свет починить…

— Уходи, свет здесь горит!

Сердце облила радость: Киприян ушел, успеет предупредить товарищей.

Однако радость была преждевременной: все члены партийного комитета в эту ночь были арестованы и увезены в Нижний Тагил…

XI

Вот она, вотчина Демидовых, Нижний Тагил.

Перед выходом из вагона на арестованных надели наручники. Цепи! Этого еще Иван не переживал.

С вокзала вели по широкой Салдинской улице. Группа надеждинских большевиков держалась дружно. Их шесть человек. Весь город развернулся перед ними, раскинувшись по берегам реки. Плотина, огромный пруд, храмы, часовни. Ниже реки огромные доменные печи выпускали клубы черного дыма. За ними — правильные ряды заводских корпусов.

Чувство, что ты опять не принадлежишь себе, угнетало все сильнее.

— Ах, жаль, что нас взяли. Время-то сейчас важное: построили железную дорогу, промышленность растет… — шептал Иван, — а рабочие живут так же плохо… Нам нужно бы это использовать…

— Не разговаривать! — неслись по колонне окрики конвоиров.

Сентябрь стоял сухой. По дороге ветер перекатывал желтые листья.

Обгоняя партию арестованных, бежали дети и кричали:

— Ребя, гли, опять каторгу ведут…

Из толпы, собравшейся по обочинам дороги, выскочил мужик в рубище, с открытой грудью, поросшей рыжей щетиной. И лицо его до глаз заросло рыжими космами. Идя рядом с партией арестованных, он пел хриплым простуженным голосом:

Товарищи, братья родные,
Довольно вам спины ломать…

Арестанты одобряли песенника криками:

— Давай, давай! Хорошо поешь!

За то, что хозяевам лютым
На ваших трудах отдыхать!

Конвоиры пригрозили:

— Смотри, Левка, опять за песни в тюрьму попадешь! Не посмотрят, что ты — чокнутый!

— Ничего, — ответил тот. — Тюрьма, что могила, и вам

место найдется! — И снова скакал рядом рыжий, тянул:

Того бедняка молодого
Сковали они в кандалы,
Не давши с семьею проститься,
Повели вдоль тюремной стены!

Новый порыв ветра подхватил листья, закружил их, затем осторожно уложил у канавы.

За тюремными воротами враз стало тихо. Большие глаза Феди Смирнова заливала тревога.

— А у нас и здесь много друзей! Одного мы только что видели. Это — Левка-песенник! — чтобы приободрить парня, шутливо сказал Иван и подумал с нежностью: «И Маша, моя сестра… Моя подруга где-то здесь…»

На каждого натянули грязные арестантские бушлаты, пахнущие потом.

Отобрали деньги. Сняли наручники. Разъединили: Ермаков, Смирнов и Малышев попали в камеру к уголовникам. Те сразу их окружили. Долговязый арестант сказал:

— Хороши! Хоть выпрягай!

Иван осторожно обошел вокруг него:

— А тебя уже, кажется, выпрягли?!

Уголовники дружно захохотали: ответ понравился.

Долговязый не унимался:

— А мы где-то с тобой встречались…

Малышев, все так же обходя его кругом, отозвался:

— Да, я там иногда бываю.

И новый взрыв хохота потряс сырые стены камеры.

— А ну их, политиков, — махнул рукой долговязый и отошел прочь.

Голые нары в два яруса висели на столбах. В столбы были вбиты железные скобы, как ступеньки, на косяке двери — закопченная лампа. Неслись приглушенные жалобы, смех, грубая брань. Звенели кандалы.

Утром осипший голос с верхних нар спросил:

— Чья очередь камеру убирать?

— Политических!

Три большевика спокойно поднялись. Малышев стуком в дверь вызвал надзирателя, попросил воды и, когда воду дали, склонился над ведром, смачивая тряпку. Сильная рука долговязого уголовника оттеснила его.

— Чего там! Сами будем убирать.

Работали все вместе. Потом снова «политики» сидели на

отведенных им нарах.

— Иван, ты вчера что-то сказал о промышленном подъеме, — напомнил Киприян. — А революционный-то подъем видишь ли?

Иван, весело блестя глазами, отозвался:

— Конечно. У нас в чем подъем? Он у нас в борьбе с меньшевиками. Меньшевики-то что делают? Они стараются развалить нелегальные наши организации… стараются народу отвести глаза от прямой нашей задачи.

Федя был молод, может быть, поэтому его чаще других вызывали на допрос. Еще в 1907 году убили фон Таубе, директора завода, деспотичного и жадного. Видимо, убийц не нашли, и следствию хотелось сейчас взвалить это убийство на плечи надеждинских большевиков. Один раз Федю привели с допроса избитого. Товарищи тревожно ждали его: молод, вдруг не выдержит и провалит организацию.

Но еще в дверях Федя бросил на них гордый, ликующий взгляд.

— Ничего не добились!

— А мы вот что сделаем — проведем голодовку: надо требовать прокурора, требовать свою одежду и деньги. Они не имеют права нас избивать, мы — подследственные. И выше голову! — предложил Иван.

…Голод. Мучительно хочется пить. Надзиратели приносили политическим пищу, растерянно переглядывались и уносили ее обратно.

Лежать, перетянуть животы, сохранить силы.

Федя почернел. Измученный допросами, он даже во сне бредил свободой:

— На вечеринку зовут… ждут меня…

Желая поднять его настроение, Малышев говорил:

— Тюрьма — это временный отрыв от борьбы. Ее нужно использовать… будем учиться здесь… Я понимаю, Федя, сейчас, когда наши силы могли бы пригодиться там, сидеть здесь тяжело. Будем изучать урок и опыт революции, литературу, историю.

Киприян помогал Ивану как мог.

— Помню я, как на Чермозском железоделательном заводе забастовка в ноябре пятого года вспыхнула. Впервые. Местечко тихое, и вдруг — забастовка. Ночные смены в горячих цехах не выдержали. Утром шли мы, рабочие вспомогательных цехов, к заводу — попали на митинг, а через несколько часов уж тысячи людей шагали по главной улице. Песни революционные пели. Я тогда совсем зеленый был, вроде Феди вон… И подхватили мы под руки главноуправляющего Чермозского округа. Надели на него лохмотья, лапти, суму нищенскую на плечо повесили. Вот

так всю свою злобу и недовольство выливали. Привели мы его в волостное управление… Ну, он струсил да и подписал все требования наши…

…Трехдневная голодовка помогла: надеждинцев перевели в другую камеру, выдали им одежду. Они только жалели, что перевели их не к своим.

Чтобы скоротать день, Малышев учил товарищей французской борьбе или играл с ними в допрос. Вот он приосанился и начал:

— Подследственный Федор Смирнов, когда вас избрали хранителем или, как вас там называли, кладовщиком нелегальной литературы в Надеждинске?

Федя фыркнул и скороговоркой ответил:

— Это кого? Это меня-то? Складов на заводе множество.

Иван грозно поднялся:

— Каких складов?

— Да как же, на улице Походяшина склад. На Сосьве склад.

Ермаков хохотал:

— Так-так, Федя! Прикидывайся дурачком.

«Допрос» продолжался:

— Подследственный Федор Смирнов, дружил ты с членом подпольного комитета Мишей?

— Это какой? Мишка-то Вашкин? Да кто с ним, баламутом, дружит? Он ведь ахаверник!

— Ну, а с Малышевым ты дружил?

— Это какой Малышев? — дурачился Федя. — Такой высокий? С бородкой? Да ведь зря он бороду-то отпустил, три волоска всего! А чё мне дружить с ним? Он к девкам не бегает, тоскливый… Я к нему за песнями ходил. Ох, и песен он знает! В голове не вмещается!

— Каких песен? — стонал, изнемогая от сдерживаемого смеха, «следователь».

— Да разве упомнишь? «Ванька-ключник — злой разлучник», «Ах, вы сени, мои сени», «Скучно пташке сидеть в клетке»…

На улице падал снег. Окошко заледенело. С потолка камеры сочились капли, а глухие темные стены дрожали от хохота.

Федя раньше всех оборвал смех:

— Уж скорее бы суд!

— А чего ты от суда ждешь?

— Освободят же! — запальчиво крикнул Федя.

— Судьи-то те самые враги и есть, против которых мы боролись.

— Давай-ка, Миша, заниматься. А то вдруг нас разъединят… — напомнил Киприян. — Ты вчера начал о

политэкономии рассказывать…

Иван рассердился на своего серьезного друга: не понимает, что Федю нужно готовить к новым пристрастным допросам.

— На чем мы урок кончили? — спросил он и внимательно оглядел товарищей: «Спасти, спасти товарища… иначе… так… доведут его до самоубийства…» — На прибавочной стоимости мы кончили урок. Продолжаем…

…Суда все не было: у следствия недоставало доказательств. Раз в неделю арестованных выводили гулять на пятнадцать минут. Прогулку ждали нетерпеливо: во дворе жадно вдыхали холодный воздух. Ловили ртом редкие снежинки.

Только раз политических вывели за стены тюрьмы, в баню, снова надев на них наручники.

День был ясный, тихий. От снега резало глаза. От свежего воздуха кружилась голова. Колонна арестантов, построенных в пары, тянулась на полквартала. Звенели на уголовниках кандалы. Кто-то впереди склонился, поправляя их на ногах:

— Трут, проклятые…

— Подсунь под кольца штаны.

Со стороны опять вынырнул рыжий Левка, одетый в лохмотья, и начал приплясывать впереди колонны:

Ох, Демидов уж умен, умен, умен!
И за это он начальством отличен:
Получил он званья итальянские,
Отнял он леса крестьянские!
Обзавелся гувернантками,
Мамзелями, итальянками,
На гроши наши рабочие
Шьет наряды им хорошие…

В колонне послышался смех. Конвоиры закричали:

— Уходи, слабоумный!

А тот себе плясал, выделывая разные коленца.

Кто-то из уголовников впереди тоже начал приплясывать, высоко поднимая закованные ноги. Кандалы звенели.

На тротуаре раздался знакомый дрожащий голос:

— Родной наш!

Малышев огляделся, но в толпе трудно было кого-нибудь узнать. А вдруг он ошибся? Неужели ошибся?

Левка продолжал:

Он кручинушки не ведает,
По три раза в день обедает!

А на прииске рабочие
Пески моют днем и ночью им…

В колонне посмеивались:

— Дурак-дурак, а умный…

— Нам идти под плясовую легче.

Конвоиры согнали песенника в снег. Но тот побежал по тротуару, и толпа, стоявшая там, пропускала его.

Заработают какие-то гроши
И несут в кабак четвертаки…
Ох, и сколь народ наш дураки,
Только сказывать нам будто не с руки!

Иван думал об одном:

«Маша крикнула или не Маша? Неужели я ошибся? Вот здорово, если Маша!»

В бане Иван ужаснулся, глядя на товарищей: от жаркого пара особенно выступали следы нагаек. Спины словно изрыты. Но даже вид изуродованных спин не заглушил надежды Ивана: «Если то Маша, она наверняка будет хлопотать о встрече».

Теперь, гуляя в тесном дворе, заключенные каждый раз слышали за воротами непонятный людской гул.

Несколько раз Иван с Киприяном пытались связаться с соседями по камере, стучали в стены, но ответа не было. А глазок в двери открывался немедленно. Грубый голос с издевкой спрашивал:

— В карцер захотели?

В напряженном ожидании прошло несколько дней.

Скорей бы, скорей!

Иван ждал Машу, ждал суда: не могут же их держать месяцами в подследственных. Он мысленно готовился к своей речи на суде.

Но суд так и не состоялся: мало было улик.

Как-то утром надеждинцев вызвали в контору и объявили, что их по решению Особого совета при Министерстве внутренних дел отправляют в Тюмень и другие города Сибири в административную ссылку.

«Тюмень? Сибирь? Ну что ж, пусть Тюмень и Сибирь. Всюду идет борьба, и мы включимся…» — думал Иван.

Федя радовался свободе, как ребенок, он то пел, смеялся, то прыгал.

Малышева и Ермакова сковали вместе наручниками.

Этап строился во дворе, где по-прежнему был слышен из-за ворот гул голосов, женский плач, крики:

— Закона на вас нет!

— Передачи не брать вы права не имеете!

— Хорошие нам проводы будут! — шепнул Иван Ермакову.

Широкие ворота распахнулись. Толпа смолкла. Какая-то женщина вдруг истошно крикнула:

— Санушко, куда тебя повели?!

Ее перекрыл родной голос отца:

— Соловейко!

Отец, совсем поседевший, с горящими глазами, мял в руках шапку. Рядом плакала Маша. Ее держал под руку высокий немолодой мужчина с темной бородкой. Муж, наверное.

Толпа кинулась вперед по сторонам колонны, напирала на конвой. Малышевы тоже бежали.

— Цепи-то почисти, Иван, — раздался голос отца.

— Из Орла цепи-то. На всю Россию орловская каторжная тюрьма цепи поставляет!

Среди общего шума вновь различались слова отца:

— Ты, Ваньша, с детства совести не ослушивался! Я в тебя верю!

Иван поднял руки, невольно поднимая и руки Киприяна, потряс наручниками на головой.

— Отец, Маша! Тюмень — хороший город!

— Молчать! — гаркнул один из конвойных.

Но родные поняли, закивали радостно.

Позднее узнал Иван, что Маша, увидев его, когда их вели в баню, вызвала отца, что каждый день они были у тюрьмы. Но свидания никому не давали и передач не принимали. Из-за этого и стояли у тюрьмы шум и волнения.

XII

Тюмень — хороший город.

Малышев и Ермаков сняли отдельную комнату на Большой Разъездной улице. Им никто не мешал читать, не вмешивался в распорядок дня. Только раз в неделю в их комнату заглядывал стражник с золотушным лицом.

— Живете? — спрашивал он. — Ну и живите!

Федя не нашел работы, и ему разрешили уехать на строительство Омской железной дороги.

Ежедневно к восьми часам утра Киприян уходил на электростанцию, где работал, а Малышев направлялся на «службу» в магазин Агафурова.

Братья Агафуровы и не подозревали о том, что застенчивый конторщик со светлыми густыми усиками, «поднадзорный ссыльный и неблагонадежный», уже и здесь завел подозрительные связи.

Главный бухгалтер Николай Иванович Баринов говорил о нем:

— Скромный, дело знает.

Был Баринов осторожен в движениях, тих и внушителен. По пустякам ни к кому не придирался, об ошибках не докладывал хозяину. Его уважали.

Конторка Ивана стояла между кассой и окном с видом на Царскую улицу. Сидя за ней, он заносил каждую торговую операцию в огромный журнал, подводил баланс. Этот журнал велся специально для податного инспектора.

Солидный размер журнала и отчетливые, красиво расположенные записи как бы говорили о кредитоспособности фирмы.

На улице звенела зима. Сыпал жесткий снег. Короткие дни, длинные ночи наступали и уходили. Завывали метели, а пропагандист партии Миша бегал по кружкам вместе с Киприяном. Они громили меньшевиков и эсеров, рассказывали о шестой Всероссийской партийной конференции РСДРП, о том, что меньшевики-ликвидаторы изгнаны из партии. Конференция укрепила партию большевиков как общерусскую организацию, определила ее линию и тактику в условиях нового революционного подъема.

Снег съедали сырые апрельские ветры, когда до Тюмени дошли слухи о кровавых событиях на реке Лене.

Листовки летели с незакрытых чердаков домов, висели на заборах, их находили рабочие в своих карманах, читали,

передавали другим.

«…4 апреля убито и ранено более пятисот человек».

Стыла кровь.

Иван Михайлович размышлял: «Давно не писал своим… Если бы Ленин был сейчас в России! Если бы! Знает ли он о ленских злодеяниях? Какая чепуха, конечно же, и в Париже он узнает все немедленно. Родным писать я о Лене не могу… Но они там, в своем Верхотурье, знают ли?»

Как-то в обеденный час в магазине, как это часто бывало, остались Малышев с Бариновым. Их работу прервал вояжер из чайной фирмы «Высоцкий и К°». Он вбежал в магазин и заметался, бестолково, испуганно твердя:

— О, мой боже! Спасите… спрячьте!

На Царской улице раздавались крики, свистки.

Иван, не раздумывая, схватил вояжера за руку и увлек в товарный отдел. Баринов опередил их, открыл громадный полупустой шкаф.

Вояжер, даже сидя в шкафу, продолжал твердить:

— Спасите… я — еврей… они гнались… — и бормотал молитвы.

Шкаф закрыли на ключ. Малышев постучал в створку и приказал:

— Перестаньте молиться, чтобы вас не слышно было!

Когда погромщики вбежали в магазин, Малышев и Баринов сидели, углубленные в работу.

— Сюда никто не входил?

Иван замер: как-то поступит бухгалтер? Пауза затянулась. Наконец Баринов оторвал взгляд от толстой бухгалтерской книги, удивился:

— А кто войдет? Сейчас обеденное время.

«…4 апреля 1912 года на реке Лене убито и ранено…»

Ленин уже писал, что в ответ на народное возмущение царское правительство намеренно разжигает национальную рознь. Бедного тихого еврея надо травить, как собаку, только потому, что на реке Лене… для того, чтобы гнев народа двинуть в другую сторону!

Остаток дня длился бесконечно. Когда кто-нибудь из конторщиков направлялся в товарный отдел, Баринов с Малышевым тревожно переглядывались.

Вошел жандармский ротмистр Чуфаровский, который в

магазине Агафурова пользовался скидкой, платил за товары вместо рубля — гривенник.

Пока продавцы обслуживали его, Баринов и Малышев сидели оцепенев.

Ночью вояжера фирмы «Высоцкий и К°» проводили на вокзал, посадили в поезд, идущий в Омск.

Приближалась пасха. В магазине Агафурова торопились провести учет. А когда магазин был закрыт на пасхальную неделю, Баринов пригласил Малышева поработать у него на дому: осталось подсчитать товарные описи.

В тихой уютной квартире пахло куличами.

По стенам столовой развешаны пейзажи кисти самого Баринова. Это напоминало квартиру Кирилла Петровича в Перми.

Жена Баринова, холеная красавица, лениво объяснила:

— Коля очень любит живопись. Пишет маслом, иногда акварелью. Я очень рада: только бы не увлекался политикой… Учение о социализме сейчас модно…

— Только модно? Учение о социализме дает человеку надежду освободиться от рабства.

— Но это учение дает человеку скитания и тюрьмы. Пусть лучше занимается живописью. Искусство украшает жизнь, успокаивает умы, — заключила Баринова, а в больших карих глазах ее мелькнуло смятение.

«Не очень что-то оно успокоило твой ум», — подумал Малышев и спросил:

— Чем же успокаивает умы и украшает жизнь искусство?

— Красотой, — последовал ответ.

— А может, наоборот, не успокаивает, а не дает застояться? — осторожно спросил Иван Михайлович.

Женщина внимательно выслушала его, протянула раздумчиво:

— Пожалуй! Слышишь, Коля, что говорит Иван Михайлович? Да вы, сударь, очень развиты. Где вы учились?

— По тюрьмам, — спокойно отозвался Малышев и улыбнулся, увидев, как женщина отпрянула он него. — И простому конторщику может быть ясно, что искусство должно служить народу не только красотой. Оно должно быть доступно и нести правду.

— О чем?

— О жизни. Вот репинские «Бурлаки»…

— Ах, оставьте, Иван Михайлович. Репин слишком прост! — Она смолкла и посмотрела на мужа кротко и нежно.

…Город спал, слившись с ночью, молчаливый и темный. Однако чем ближе к реке, тем больше нарушалась тишина.

Баринов направился проводить сослуживца. Шли медленно. Присели на длинную некрашенную скамью на высоком берегу Туры. Баринов сказал извиняющимся голосом:

— Жена напугана репрессиями в городе…

Река уже вскрылась. Началась навигация. Шныряли, свистя, буксирные пароходики, освещенные огнями. Много их стояло у пристани.

На фоне ночного неба видны стены кремля-монастыря.

— А вы, Николай Иванович, что же, сочувствуете рабочему движению?

— Сейчас многие ему сочувствуют. Я — бухгалтер, у меня свое дело. Да и жена… ей все чудятся враги…

«Наденька, опять Наденька, взявшая жизнь еще одного человека!» — подумал Иван.

— Не иметь врагов! Это еще не значит, что жизнь у всех идет в мире… А ради чего вы решили спасти еврея-вояжера?

— Ради себя…

Малышев не понял:

— Как?

— Ну, если бы я его выдал, я бы не спал нормально, презирал бы себя, — пытался втолковать ему Баринов.

— А-а, — удивленно протянул Малышев. Его потянуло к друзьям. Разговор с бухгалтером начинал раздражать. — А я думал, вы спасли его из человеколюбия, из сострадания…

Бухгалтер вдруг заволновался:

— Я, конечно, сочувствую… И вовсе не боюсь, Иван Михайлович. Я только должен понять, что происходит.

XIII

На Томской улице, на квартире Махряновой, высокой черноволосой учительницы, часто печатали на гектографе листовки. Но сегодня здесь никого не было, кроме хозяйки.

— Праздник в одиночестве? — спросил, входя, Малышев.

Напевным голосом, в котором звучала улыбка, Мария Павловна ответила:

— Как только вы, Миша, вошли, я уже не в одиночестве. Надеюсь, вы не будете со мной христосоваться?

Иван рассмеялся.

— Я бы не прочь, — и бурно покраснел: он впервые допустил вольность по отношению к женщине.

Мария Павловна внимательно посмотрела на него.

— Давайте попечатаем.

Лист за листом воззвания ложились в стопу. Ивану весело было проводить по листу валиком.

— Здорово! Разжились мы техникой: машинка, гектограф… Теперь листовками со всеми рабочими похристосуемся…

— То-то же!

— Хорошо бы нам выпускать небольшую регулярную газету-листок… — мечтал Иван. — Меньшевики опять кричат, что не созрел еще наш рабочий для борьбы, что кончатся маевки тюрьмой да ссылкой и это только отпугнет всех…

— Сомневаться проще всего.

— Ах, как вы здорово это сказали, Мария Павловна: «Сомневаться проще всего!»

Уснуть в эту ночь Иван Михайлович не мог. Мысли о газете, о маевке, к которой призывало воззвание, напечатанное сегодня, теснились в голове.

Вспоминалась первая его маевка в Фоминке. Семья Кочевых. Интересно, жив ли Евмений, лечится ли? А эти — Стеша и Немцов — уж женились бы, не мучились! Вспомнил Иван Верхотурье, свое первое выступление у Кликун-Камня. Поднялся. Зажег лампу. Жестяной, покрашенный белилами колпак сосредоточивал свет над листом бумаги.

> «Дорогие мои старички, — легли первые слова письма. — Дела обстоят у меня благополучно: опять по-прежнему сильно работаю».

Подумал: «Опять… по-прежнему…» Хватит одного слова «по-прежнему…» — отложил в досаде перо: — Читаю, читаю, пишу

много, а все не добьюсь экономии слов! Надо научиться, как Ленин, чтобы ни одного слова нельзя было выбросить и чтобы каждое, крохотное, вмещало в себя большой смысл! Надо научиться оставлять такие слова, которые много отражают…»

Сразу после Первого мая начались аресты. Иван был осмотрителен, и обыск в его квартире ничего не дал. Однако он чувствовал за собой слежку. И все-таки радовался: Первое мая провели как знак протеста против расстрела на Лене! В пользу пострадавших собрали деньги.

Когда над толпой вдруг взвивалось красное полотнище или когда несколько человек запевали: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой», — Ивана охватывало жгучее радостное волнение. И сейчас, идя на работу и вспоминая массовку, опять почувствовал он то самое волнение. «Для вас! — мысленно говорил он встречным. — Для тебя, седина! И для тебя, девочка с сумкой… для всех, для вас вышли мы все из народа!»

Еще с улицы в окно магазина увидел, как два полицейских рылись в его конторке. Быстро мелькнуло в голове: «Там я ничего не оставляю».

Бежать? Нелепо…

Он стремительно открыл дверь.

— Что это значит?

Тот же стражник с золотушным лицом, который проверял его квартиру, потряс перед Малышевым книжкой.

— А это что значит? Это что? И это вы допускаете за год до трехсотлетия дома его императорского величества?

В руках у полицейского была брошюра Маркса «О заработной плате».

Иван подумал с досадой: «И как я мог оставить ее здесь?»

Когда Малышева повели из магазина, товарищи провожали его ободряющими взглядами.

Снова тюрьма. Занумерованное одиночество. В окно заглядывало серое, без всяких оттенков небо. Стены камеры в пятнах, покрытые засохшей плесенью.

Ему дали тетрадь, разрешили писать. Но тетрадь была тоже нумерованная. Мысль, что тюремный надзиратель ознакомится с его раздумьями, останавливала перо.

Резкий долгий звонок в коридоре означал для надзирателя: «вести арестованного на допрос», а для арестованных: «Кого на этот раз? Меня? А может, не меня?»

В кабинете перед столом следователя — Мария Павловна Махрянова.

Следователь, коротенький, кругленький, довольно улыбаясь,

следил за встречей.

Малышев сухо посмотрел на Махрянову и отвернулся.

— Ну-с, молодой человек, вы знакомы, кажется?

Иван Михайлович еще раз недоуменно посмотрел на Марию Павловну и подумал: «Глаза! Какие у нее глаза! Словно она все знает вперед и все знает в прошлом!» Оба враз перевели взгляд на следователя.

— Нет, я не знаю эту женщину.

— Мы не знакомы.

День, ночь. День, ночь…

И снова резкий звонок несется по каземату. Для надзирателя: «вести арестованного на допрос», для арестованного: «неужели опять за мной?»

— Это ваша рука! — следователь показал листок бумаги с начатым письмом к семье.

— Моя.

— Что значат слова: «Опять по-прежнему сильно работаю»?

— То и значит, что я, действительно, сильно работаю.

— На партию свою?

— На братьев Агафуровых. Даже пасху работал.

— А почему вы покраснели? Почему?

— Стыдно.

Круглое лицо следователя расплылось от удовольствия.

— Чего стыдно?

— Своей безграмотности. Написал «опять» и «по-прежнему», когда эти слова почти синонимы.

Выжидательная улыбка мгновенно стерлась. Следователь медленно багровел:

— Я научу вас говорить человеческим языком, а не вашим, большевистским!

— Мой язык — язык среднего интеллигента, — встал Иван Михайлович, не понимая, чем обидел этого пожилого человека.

Тот, все еще багровый от бешенства, кричал:

— Это ты — интеллигент? Ты, сын ломового извозчика?

«Против этого ничего не возразишь. Бедный мой седой отец!»

— Да, я сын ломового извозчика. Но я не позволил себе сказать вам «ты».

— Еще бы! Сеноним!

Малышева осенило: следователь не знал этого слова. Иван всмотрелся в его багровое лицо уже с жалостью.

Поняв по-своему волнение заключенного, следователь стих, вытер огромным серым платком лоб и заговорил доверительно:

— Наверное, вы уже жалеете, Малышев, что встали на этот путь? Смотрите, вам только двадцать три года, а вы уже

четвертый раз в тюрьме… Испробовали и арестантские роты! Может, вам неудобно перед вашими «товарищами» отступить? Так мы вам поможем!

Иван скупо усмехнулся. Хотелось сказать, что свой путь, если потребуется партии, он повторит еще и еще раз.

Иван пел. Песни воскрешали прошлое, манили вперед.

Петь запрещали. Книг не давали. Время тянулось бесконечно, Иван взбирался на стол, чтобы увидеть небо и окна домов. Из-за домов выглядывала церковь со старинными главами и ребрами крыши. Иногда из дома напротив смотрели на него какие-то люди. Он уже знал многих в лицо.

Месяц. Два. Три. А дело не разбиралось.

Видимо, Киприян и другие товарищи тоже арестованы: с воли никаких вестей.

Иван требовал суда. Суда, на котором он открыто скажет свое слово. Ему необходимо научиться использовать суд как акт деятельности революционера.

Шли дожди. Тускло светило на воле солнце и тухло. Наступала ночь, которая в тюрьме особенно длинна.

У окна стоять не разрешали, кричали в глазок, угрожали. Однако несколько раз по утрам Малышеву удавалось взбираться на стол, вдохнуть воздух, увидеть небо.

Однажды, когда он стоял, как распятый на решетке окна, напротив мелькнул белый платок, будто крылышко птицы. Нет, не может быть! Маша, да ведь это же она! И так рада, что наконец обратила на себя его внимание, смеется и плачет. Сейчас же заработали их пальцы и губы — азбука глухонемых.

Маша сказала, что получила записку от Киприяна: «Ваня опять заболел». Она приехала, чтобы ускорить разбор дела. Постоялый двор — напротив. Услышала от жильцов, что на третьем этаже тюрьмы политический все время поет. Сразу решила, что это Иван. Сначала не узнала его: впервые увидела Ивана, обросшего жидкой светлой бородкой.

— В чем у тебя нужда? Ты здоров? — допытывалась она.

О себе Иван Михайлович говорить не любил. Он требовал от сестры сообщений о партийной работе, о товарищах по заключению.

Договорились: чайник с молоком или квасом будет с двойным дном.

До тюрьмы донесся перезвон колоколов, пение царского гимна. Маша объяснила:

— Сегодня триста лет дому Романовых. Ученикам в школах конфетки дают. С иконами по улицам ходят.

— Еще сотню не простоит: подгнил!

Ожил Иван. Чайник с двойным дном помогал.

Теперь о воле Иван знал все: большевики развернули подготовку к выборам в четвертую Думу. Значение этой кампании предусмотрела Пражская конференция. Необходимо получить право говорить открыто, во весь голос о «полных неурезанных требованиях пятого года». Большевики не отступали.

Выпив молоко и вскрыв дно чайника, Иван извлек «Рабочую газету».

«Ах, Маша! Золотко мое!»

«Рабочая» издавалась Центральным Комитетом партии в Париже. Номер 9 от 25 августа 1912 года вышел с заметкой из Тюмени:

> «Работа у нас… с громадными усилиями налаживается… имеется кружок пропагандистов (коллегия), а также кружок низшего типа… Спрос на литературу… Среди рабочих большое стремление к самообразованию. Был организован сбор в пользу пострадавших на Лене, давший более 60 рублей… Есть связи среди солдат, из которых недавно трое арестовано (нашли несколько наших листовок). Отношение товарищей к арестованным сочувственное. Есть связи с несколькими уральскими заводами».

Жандармский ротмистр Чуфаровский не знал, что арестованный Малышев не проводит даром время, что выпустил он уже внутреннюю газету на листке папиросной бумаги и газета гуляла по тюрьме, что сообщал он на волю в «чайнике» все тюремные новости и имена особо жестоких тюремщиков. И там выходила одна листовка за другой.

Уж год Малышев в тюрьме.

Он видел, что Маша огорчена. Передал: «Не падай духом. Ты — на свободе».

Оба понимали, что следствию хочется раздуть дело.

От имени Агафуровых Баринов обратился к Чуфаровскому, утверждая, что Иван Малышев — необходимый им торговый работник. Расчет был верен: Чуфаровский жил за счет Агафуровых, поэтому отказать не решился.

— Уважая фирму, я отпущу Малышева под поручительство двух домовладельцев. Но жить в Тюмени не разрешу.

— Иван Малышев может быть полезен Агафуровым в Екатеринбурге, — скромно сказал Баринов.

Осенью 1913 года, когда листья высоких тополей еще струились по ветру. Малышев вышел из тюрьмы.

XIV

Шла война. Царский манифест, мобилизация, проводы солдат на фронт, молебны, патриотические демонстрации с хоругвями заполняли жизнь обывателей Екатеринбурга.

Улицы не мощены, не освещены. Выдирая ноги из грязи, Малышев спешил в магазин Агафуровых еще затемно. В конторе ждали его молодые продавцы. Старшие же конторщики сухо встречали нового коллегу.

— В чем дело, не пойму, — недоумевал Иван.

— А чего тут не понять? — судили товарищи. — Ты много знаешь, не им чета! Не пьянствуешь, не материшься и не егозишь перед ними.

— Читаешь нам газеты, сводки о военных действиях.

— И каждый раз вставишь такое, от чего Евдокимов белеет! — Служащие сдержанно смеялись.

— Он анекдот любит, а ты ему: «Себя не пожалеем на войне, только не знаем — за что воюем!»

Как всегда, для начала Иван читал им рассказы Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. Как-то младшие продавцы не выдержали:

— Это мы и сами можем прочитать. А о том, как идет борьба в нашем городе, мы не знаем. Об этом расскажи…

— Откуда мне знать? — развел руками Малышев. — Я всего полгода здесь. А до этого, после Тюмени, по разным местам болтался… Отстал…

В магазин вошел Евдокимов, главный бухгалтер магазина.

Малышев, нарочно севший так, чтобы виден был вход, сказал:

— Хорошие девушки, одна другой лучше!

— Что собрались спозаранку? — спросил подозрительно Евдокимов.

— Пораньше лучше, не опоздаешь! — отозвался Иван, усмехаясь.

Евдокимов оглядел подчиненных студенистыми глазами. Высокий, начинающий тучнеть, с длинным серым лицом, он был недоверчив к служащим и по-собачьи предан хозяевам.

Иван, глядя на него, вспоминал Николая Баринова. «И сравнивать этих двух нельзя! Интересно, победил ли Баринов страх свой перед революцией?»

Большой магазин братьев Агафуровых по Успенской улице[1] темен и тесен. Место Малышева у окна, позади «самого» Камалетдина Агафурова. На красном затылке хозяина толстая складка жира казалась еще толще под черной заношенной

тюбетейкой.

Хозяин сидел сложа руки. Читать он почти не умел; когда Евдокимов угодливо подносил ему бумаги, еле-еле подписывал их; но газетными новостями интересовался.

Как всегда, хозяин и сегодня пришел с пачкой газет в руках. И сразу к Малышеву:

— Почитай сводки, — с этой просьбой он чаще всего обращался к нему: Иван читал лучше, разборчивее других.

Бегло пробежав сводку глазами, Иван начал перечислять пункты, которые оставили русские войска, число раненых и убитых. Огромная цифра ошеломила всех. Но Малышев, не останавливаясь, перешел к стихам:

Я вытащил жребий недальний,
Смерили, крикнули «Гож!»
Что же ты смотришь, печальный,
Ведь в царскую службу идешь?
Если заводский рабочий,
Не в силах он больше вздохнуть.
То вспомни устав и присягу,
Цельсь верней ему в грудь.

— А вот тут еще стихи… ответ на первые… — Не давая слушателям прийти в себя, Иван продолжал:

Постой-ка, товарищ! Опомнися, брат!
Скорей брось винтовку на землю.
И гласу рабочего внемли, солдат,
Народному голосу внемли!
Ты здесь убиваешь чужих — у тебя
В деревне семью убивают.
И издали грозно твоя же семья
Тебя же, солдат, проклинает.

— Не может того быть, что стишки такие напечатали! — воскликнул Евдокимов, бросаясь к Малышеву и вырывая газету.

— Смотрите сами! — недоуменно протянул тот — Видите, черным по белому.

В руках у Евдокимова оказалась какая-то новая газета. Он, помахав ею, с гневом прочитал: «Уральская группа социал-демократов».

— Что это такое, я спрашиваю? «Хищники и паразиты стремятся отвлечь внимание рабочих и крестьян от борьбы за

свои интересы, натравить их на их же братьев, живущих в другом государстве» Что это?

Он резко повернулся к Малышеву. На лице у того было столько недоумения и растерянности, что Евдокимов замолчал.

— Хозяин принес… Не знаю, где он взял.

— А я что… я ничего, — развел руками Агафуров. — Видимо, к газете приложение…

— Временно кое-кому надо забыть вражду с правительством. Теперь у всех с ним одна цель защищать отечество. Мы не выпустим из рук винтовку, пока Родина в опасности!

Сердце Ивана болезненно сжалось, эти слова вы крикнул Игорь Кобяков, конторский служащий, высокий красавец. У него был баритон, и он хорошо владел им. Малышев с гневом посмотрел на него.

Целый день Иван не мог успокоиться, уж очень тяжело переживал он предательство и измену. А слова Кобякова звучали изменой. Ведь Кобяков был близок к большевикам, сочувствовал им.

А уходя вечером домой, Иван посмеивался:

«Что бы сделали они, бухгалтер Евдокимов и сам Агафуров, если бы узнали, что у них под боком существует нелегальная организация, первая после разгрома, и что я ее председатель? Как бы вытянулись у них лица, если бы они узнали, что мы с товарищами проводим на заводах Урала забастовки!»

Вспомнил он сейчас, как перед войной забастовали рабочие на Верх-Исетском заводе, как выбрали стачечный комитет, обсудили требования к администрации отдельных цехов и всего завода, наметили делегатов для переговоров. Делегаты с переговоров вернулись ни с чем; директор правления удивился:

— Восьмичасовой рабочий день? Расценки повысить? А особняк на каждого не хотите? — Он тут же сел в пролетку и уехал. Лошади были горячие, сытые, бока их лоснились, упряжь блестела медными насечками.

Грубость главного директора, его несправедливость и равнодушие, хоть и были знакомы рабочим, каждый раз оскорбительны.

— С нами и разговаривать не хотят! Язык у него отломится.

— Нечего тянуть: бастуем.

Вереницей брели к заводскому двору лошади, запряженные в двухколесные таратайки. Во дворе по узкоколейке катили вагонетки с чугунными чушками или кипами листового железа.

Как в обычный день, завод дышал, звенел, лязгал.

Рано утром в больничной кассе собрался комитет. Входили

все новые люди, опасливо переговаривались.

— У нас одни требования: «Долой царя!»

— За этот лозунг люди в каторге гнили, на плаху шли, и нам от него отступить нельзя!

Прогудел гудок. Комитетчики быстро покинули кассу. Перед заводом уже стояла шумная толпа.

Гудок прозвучал вторично, возвещая начало митинга.

Малышев протискался вперед.

Черные трубы не дымили, это так необычно, что каждый невольно оглядывался на них.

…Несколько дней тогда на работу никто не выходил. Только у закрытых ворот завода толпился народ да сновали мимо полицейские. На всякий случай члены комитета по ночам скрывались в чужих квартирах.

Малышев не раз в те дни просил у Агафурова отпуск без содержания на день, на два, часто ночевал в лесу, на чьем-нибудь покосе, на берегу.

После, когда хозяева удовлетворили требования рабочих и пошли на уступки, Иван часто вспоминал душистые ночи, пруд, исколотый звездами, словно заранее знал, что никогда больше не будет тишины, что всю жизнь он проведет в битве за справедливость и счастье на земле. И сейчас часто звучали слова: «Долой царя!» Только теперь меньше замечалось страха в глазах рабочих, собравшихся на митинг. Лозунги большевиков вызывали надежду: к ним прибавлялись требования кончать войну.

Все больше людей появлялось на митингах. Иван отмечал, что немало мелькало в толпе и молодых людей.

…Вот и на днях две гимназистки стояли у самой тумбы, которая служила трибуной, и не сводили с Малышева глаз. Обе в формах и с длинными косичками. Одна высокая, чернобровая. Черты лица точно выточены. Другая — бледнолица, белозуба, со вздернутым носиком.

Окинув любовным взглядом колыхающуюся толпу, Иван начал:

— Долго мы терпели и ждали. Больше сил нет. Вся трудовая Россия поднялась. Мы задыхаемся в дымных цехах, создаем богатства капиталистам, увечимся. Хватит! Прекращаем работу, пока хозяева не удовлетворят наши требования!

Ему напыщенно ответил длинный человек в очках, с редкой бородкой клинышком:

— Мальчишки пытаются решить судьбу России! Долой его! Святое служение Родине хочет обесчестить!

На площади поднялся гневный шум:

— Да что ты его слушаешь, Михайлыч?

С митинга Малышев шел какими-то переулками, не решаясь оглянуться. За ним слышались отчетливые шаги.

«Веду хвоста! Неужели возьмут?» — он мысленно перебирал содержимое карманов. Там все было незначительно, не выдавало. А вот в нагрудном кармане — текст листовки. «Достать небрежным жестом около харчовки, будто проверяю, со мной ли деньги… Приостановиться? Нет, еще рано…»

Ровным шагом, обычной размашистой походкой он продолжал путь.

А шаги все ближе. Легкие шаги, открытые. Это не шпик, нет. У того шаги крадущиеся, как у кошки, то исчезают, то возникают. А эти — честные, как у детей. Идут двое.

Малышев даже услышал голоса. От сердца отлегло, но он продолжал путь походкой занятого человека.

Шаги совсем рядом. Вот и харчовка. У коновязи стоит лошадь.

— Господин Малышев, — послышался сзади нежный девичий голосок.

— Не господин, не понимаешь, что ли, Вера? — и громко: — Товарищ Малышев!

Он обернулся спокойно. Перед ним стояли две гимназистки.

— Слушаю, девочки…

Те наперебой заговорили:

— Мы давно хотим…

— У нас в гимназии кружок.

— Тише ты… Мой отец Степан Смолин, он сослан сюда… А меня звать Светлана.

Малышев строго посмотрел на девочек, не желая поддерживать этот разговор на улице. Смуглянка указала на подругу:

— А это — Вера Краснова. А мама литературу распределяет.

— Что же, родители докладывают тебе, чем они заняты?

— Ой, что вы… Нет. Я сама узнала. Но я тоже с вами… У нас кружок…

— А если я не Малышев, а вы, девочки, выдаете и папу, и маму, и кружок в гимназии чужому человеку?

— Ой, что вы!.. — В коротком смешке беленькой даже послышалось презрение: — Мы уже умеем конспирироваться, а вас мы не раз слушали…

— Да мы вас из тысячи узнаем…

— Ну хорошо, и чего же вы хотите от меня?

— Работы.

— Работы, Иван Михайлович!

Он медленно направился дальше. Девушки шли рядом. Около

полицейской будки они взяли его с обеих сторон под руку. Беленькая, не меняя голоса, продолжала:

— Я так рада, что ты, наконец, приехал… А как там дядя живет? А уж мама обрадуется!

Иван понял: девчонки доказывают, что, действительно, умеют конспирироваться. Весело сказал:

— Дядя живет по-прежнему, а маму я уже видел.

Полицейский пост остался позади. Девушки упоенно продолжали рассказывать «новости».

— У нас был бал в гимназии…

— Мы делали кружечный сбор в пользу раненых!

Иван Михайлович размышлял: «А что, и эти пичужки помогут… вестовыми будут…»

— Наверное, листовки переписываете, размножаете? — спросил он, вспоминая Пермь, Юрия Чекина.

— Ой, верно! А как вы знаете?

— Знаю. Наверно, снимете листовку с забора, перепишете и расклеиваете вместо одной — сотню?

— Верно! Все верно! Но откуда вы знаете?

— Знаю… Ну, вот что, девочки, все мы выяснили: «дядя» здоров, «мама» знает. Если хотите помогать делу, передайте записку по адресу.

Остановились. Малышев набросал в блокноте несколько строк, объяснил, где найти нужный адрес.

— Там вам дадут дело… Учиться будете…

Девочки, счастливые, тотчас же его оставили.

XV

В огромном зале страхового общества «Россия» каждый день группами сидели, стояли люди, выясняли какие-то дела. Что особенного в том, если конторщик фирмы братьев Агафуровых Малышев несколько минут постоит рядом со служащим этого общества Леонидом Вайнером или Николаем Давыдовым, машинистом верх-исетской «кукушки»? Бывало, Малышев и Вайнер заглядывали домой к Давыдову. Что в этом особенного? Никто ведь не знал, что на квартире Давыдова они целыми ночами печатали листовки.

Река Исеть и два пруда будто притягивали дома, усеявшие их берега. Большой пустырь отделял город от рабочего поселка Верх-Исетского завода. Четыре церкви блестят маковками. Прокопченные крыши домов высятся, как частокол. За каждым домом — огород.

По вечерам, когда город погружался во тьму, зажигались фонари у заводоуправления, у магазинов.

Верх-Исетский завод как бы втиснулся в берег широкого пруда.

С пригорков виднелись его трубы. Дым, выбуривая из них, таял, расползался, прикрывая небо и землю зыбкой пеленой.

За поселком — торфяники, дальше — увалы, покрытые лесом, — все тут знал Иван Михайлович. Уже и лица встречных были ему знакомы.

Центром подпольной работы большевиков было правление заводской больничной кассы в двухэтажном доме верх-исетских рабочих-большевиков братьев Ливадных по Матренинской улице.

В конце рабочего дня на втором этаже этого дома всегда было шумно.

Под видом литературного кружка Малышев вел занятия подпольного кружка большевиков.

Когда не было занятий, члены комитета все равно каждый вечер приходили сюда. Дом братьев Ливадных для всех стал родным. Вон они — Ермаков, Давыдов, Лепа, слесарь Рогозинников, котельщик Мокеев, Парамонов — секретарь кассы, Мрачковский, Ливадных, Похалуев. Почти все пережили тюрьмы и ссылки. И теперь, если кто-то не приходил в кассу, все волновались. «Не взят ли?»

По утрам Иван, входя в кассу, прежде всего видел глаза Наташи.

Кассирша Наташа Богоявленская — девушка с тугой светлой косой, румяна, улыбчива. Зубы у нее с мелкими зазубринками. Ей

можно дать лет пятнадцать, не более.

Отзывчивость этого высокого, спокойного внешне парня привлекала девушку: он всем старался помочь, приносил откуда-то книги для каждого, спрашивал о работе, о семье.

Ей хотелось смотреть на него, говорить с ним. Вот и сейчас она спросила:

— А когда и зачем эти больничные кассы появились, Иван Михайлович?

Иван, подмигнув товарищам, объяснил девушке:

— Это еще осенью двенадцатого года придумали большевики, слыхали про них? Так вот, большевики начали страховую кампанию. Царь испугался, издал закон. С тех пор и создаются на крупных предприятиях больничные кассы для оказания помощи рабочим в случае увечья или болезни. Увечья — на всю жизнь, а помощь на неделю.

— Наши председатели научились для помощи рабочим у заводчиков копейку срывать.

Оба председателя были здесь же. Николай Давыдов, которого когда-то избрали рабочие, не был утвержден губернатором. Его заменили большевиком Михаилом Похалуевым, который во всем советовался с Давыдовым. Рабочие звали того и другого «наши председатели» и были довольны: с их желанием считались, их доверия не обманули.

Костя Вычугов, как всегда, привел в кассу свою невесту Любу Терину, румяную, бойкую на язык девушку, и они, сидя в углу, громко смеялись чему-то.

Кто-то сказал девушке:

— Ты, Люба, от смеха захвораешь, а пособия-то, слышь, малы. Ой, молчу! Смотри, как рассердилась, — из глаз искры!

— Не обожгись! — бросила Люба.

Пока здесь сидела кассирша, занятия не начинали: кто знает, что она за пичуга!

Ее оглядывали порой почти враждебно. А Наташе не хотелось уходить домой, и она без конца проверяла больничные листы, выдачу денежного пособия.

Однако в этот день кассиршу вызвал к себе управляющий горным округом.

Такого еще не бывало. Она испуганно перекрестилась, уходя:

— Господи боже, помоги мне!

Все обеспокоенно переглянулись: «Чего там наскажет эта девчонка?»

Пришел из Уктуса Сергей Мрачковский — один из лучших партийных пропагандистов. Гладко подстриженный, с залысннками. Уши его смешно торчали, серые глаза горячо

поблескивали.

На этот раз он привел Игоря Кобякова. Смех и улыбки у всех исчезли. Товарищи переглянулись.

Кобякова не любили. Он развязно начал:

— Зря мы стараемся, ребята… — И это «мы» покоробило Ивана. Кобяков продолжал: — Рабочих не к чему вовлекать в политику, потому как революцию за них прекрасно сделает буржуазия. А мы тут копошимся, думаем, что наш заговор лежит в основе прогресса.

— Помолчи-ка, «основа прогресса!» — проворчал Мрачковский.

С блестевшим от пота лицом и прилипшими ко лбу жидкими волосами, Кобяков говорил не очень последовательно, не обращая внимания на слова Мрачковского:

— В деревне проще. Кулак и бедняк всегда поладят. Кулак же вышел из бедняков! Бедняку прибавить радения, и он через год-два вылезет в зажиточные.

— Интересно, для чего управляющий вызвал Наташу? — спросил Давыдов.

Все с той же непоследовательностью Кобяков обратился к нему:

— Что-то бледен ты, друг, сегодня. Много работаешь, так нельзя!

Его неискреннее участие покоробило всех. Иван насмешливо удивился:

— И что это, Игорь, руки у тебя трясутся? Пьешь, что ли?

Белые трясущиеся руки Кобякова ломали карандаш.

— А что, разве я не прав? Где у нас база для демократической республики? Вы кричите: землю отобрать и отдать крестьянам? Мыслимо ли? Надо добиваться легальной рабочей партии, а не дробить силы на работу в легальных больничных кассах или в профсоюзе.

Иронически поднял густые брови Николай Давыдов.

— Слушайте, здесь больничная касса, а не Государственная дума. Куда вы пришли? И о чем говорите? Сейчас здесь начнет работу литературный кружок, — Давыдов с упреком перевел взгляд на Мрачковского: «Зачем привел этого болтуна!»

— Не бряцай ты эсеровскими-то бубенчиками, Кобяков! — строго сказал Иван. — Выхватил чужие мысли и жуешь их.

— А что, я не прав? — Кобяков смотрел на него наглым, вызывающим взглядом.

Вернулась Наташа, запыхавшаяся от быстрой ходьбы, подавленная. Сказала расслабленно:

— Господи, помоги!

Иван подошел к ней:

— В чем дело, девочка? Ну, не плачь, расскажи. Растрата?

Всхлипывая, Наташа гневно посмотрела на него:

— Что вы, бог с вами, какая у меня растрата? Просто господин управляющий так смотрел, так смотрел! Я, говорит, хочу иметь в кассе своего человека. И я, говорит, вижу, что такой человек есть. Это я, значит. И еще спрашивал — о чем разговаривают на литературном кружке…

— И что же ты сказала?

— А что я могу сказать? — почти раздраженно спросила она. — Читают стишки: «Каменщик, каменщик в фартуке белом…», говорят, какая рифма да размеры. Я же не остаюсь на кружке. А то, что Иван Михайлович мне о кассе больничной говорил, я господину управляющему не сообщала, потому что… ведь большевики кассу требуют, а хозяева ее не любят…

— Верно, Наташа, — улыбнулся Петр Ермаков. Ему лет тридцать пять. Среднего роста, плечист. Черные усики украшали мужественное выразительное лицо. Говорил быстро, обрывал фразу как бы неожиданно. Немного шепелявил.

— Ты, Петро, на митингах чаще выступай, может, шепелявость рассосется, — посоветовал Михаил Похалуев, чтобы переменить неприятный разговор.

— Шепелявость у меня от страха перед женой, — отшучивался Ермаков. — Не женитесь, ребята. Ревнуют бабы, окаянные. Задержишься с вами… а жена — ревнует! Иди доказывай, что не у милашки был… — голос его негромкий, со смешинкой.

— А ты ее в литературный кружок вербуй, — подсказал Кобяков. Все замолчали. — Что вы на меня уставились? — со смехом спросил он еще. — Верно говорю: завербовать всех женщин в литературный кружок — веселее будет!

Ермаков отозвался:

— Ну да, моя жена вам такие рифмы выдаст, что хоть святых выноси!

О жене Ермаков всегда говорил с улыбкой, как говорят о ребенке.

Ермаков — член Екатеринбургского комитета, один из участников в боевых дружинах в пятом году.

Каждый раз при виде его Малышев вспоминал Киприяна. Везет ему на Ермаковых: два революционера Ермаковы — его друзья. Был бы здесь Киприян!

— И вовсе ваша жена не такая, Петр Захарович, — вступилась кассирша. — Я ее знаю. Она — тихая.

— Все вы тихие, — добродушно ворчал Ермаков.

Малышев подошел к столу Наташи и сказал ласково:

— Устала? Уже поздно, шла бы домой…

— Я провожу вас, Наташа, — вызвался Кобяков.

— Я бы посидела еще… Мне интересно, когда вы говорите, Иван Михайлович, — ее глаза, большие, серые, не отрывались от Малышева.

— Скажи, ты где училась? Где раньше работала?

— Училась в прогимназии… У нас большая семья. Я — девятая… с пятнадцати лет работала, вышивке учила…

— Вышивке? — заинтересовался Иван.

Наташа красива. Прямой тонкий нос, твердая складка губ говорили о внутренней силе. Дуги бровей стояли высоко, отчего взгляд казался удивленным. «А что я, собственно, знаю о ней? Верещит под боком пичуга, а мы и внимания на нее не обращаем».

— Потом кассиром-продавцом в акционерном обществе «Зингер», — продолжала Наташа с гордостью, — а теперь уже кассиром и помощником секретаря.

— Сколько же тебе лет?

— О, мне уже много. Семнадцать.

— Да, это много… — с шутливым страхом согласился он. И уже строго сказал: — Ну, вот что, Наташа, иди, девочка, домой, небось мама тебя с лучиной разыскивает.

Наташа нехотя поднялась, с обидой поглядела на него.

— Бог вас накажет за это… Я ведь тоже на заводе работаю и должна просвещаться! — вырвалось у нее с задором.

Следом за девушкой вышел Кобяков.

Давыдов озабоченно произнес:

— Видим девчонку каждый день, а не можем потолковать с нею всерьез. У нее к каждому слову — бог. Господин управляющий, смотри-ка, захотел иметь в кассе «своего человека»! Ты, Иван, позанимался бы с девочкой отдельно для качала, а то уведут ее в сторону.

Иван кивнул, соглашаясь, но почему-то вспыхнул весь и долго не мог оправиться от охватившего его волнения. Товарищи понимающе переглянулись.

— Что на свете делается, Михайлович, знаешь ли?

— Вы слышали? Мобилизованные рабочие Лысьвы потребовали у хозяев завода выдачи денег. А те вызвали полицию. Несколько человек убито, — начал Иван, одолевая непонятное ему самому смущение.

— Как же так?

— За что?

— Ну как за что? Берут тебя в армию, а ты не требуй своей

зарплаты. Просили рабочие деньги за две недели вперед для своих семей. По ним стрелять начали из окон. Рабочие вооружились кольями, камнями, охотничьи ружья в ход пошли, ну, и осадили заводоуправление. Свыше ста человек предали военно-окружному суду. Пять человек повесили. Девять — к бессрочной каторге приговорили, тридцать пять — от шести до двадцати лет, многих в ссылку… пожизненно.

В кассу пришел Анатолий Парамонов, секретарь больничной кассы, которого посылали в село Ольховка, Шадринского уезда, начал рассказывать:

— Ох, что там было, в Ольховке… мобилизованные разнесли волостное правление, избили писаря и старшину, кричат, негодуют: «В страду на войну гоните! А земли не даете! Бей, ребята, по окнам!» Все окна выхлестали. «Опять, — говорят, — царь обманывает В русско-японскую войну обманул! Не пойдем кровь проливать за толстопузых, пока земли не дадут».

Пышная небольшая бородка красиво обрамляла лицо Парамонова, округляла его. Внешне спокойный, он весь был напряжен. Глаза его пытливо вглядывались в товарищей, словно от каждого он ждал необычных слов и поступков.

Пока Парамонов был в отъезде, администрация завода предложила правлению кассы снять его с работы секретаря, с тем чтобы в двадцать четыре часа он сдал дела.

Похалуев защищал его, но управляющий заводом упрямо и зло мотая головой, твердил одно:

— Гнать! Вы знаете, кого мы пригрели в кассе?! Ваш Парамонов, оказывается, перед войной организовал в Каслях забастовку! А вы не удосужились его проверить! Гнать! Гнать!

Вот об этом именно сейчас, сидя в углу комнаты, Похалуев шепотом и сообщал Парамонову. Иван, наблюдая за ними, сказал:

— А вы знаете, дорогие, что и в моем богомольном Верхотурье тоже произошло вооруженное столкновение мобилизованных с полицией! Уж если такие углы, как Верхотурье, начинают задумываться, то конец царизма виден! Смотрите — в Надеждинске, Каслях, Шадринске! Наши оттуда приезжают, интересные вещи рассказывают.

Парамонов угрюмо сказал:

— Я знал, что меня найдут — и теперь вот повестка: воевать пойду… Царя защищать.

Его окружили участливо.

Давыдов внимательно разглядел повестку и произнес:

— Большевику и на войне дело найдется, — и тут же обратился к Малышеву: — Бросай-ка, Иван Михайлович свой магазин и переходи работать в кассу, вон вокруг тебя вся

молодежь крутится. Кричим, что надо использовать каждую легальную организацию, так надо использовать. Пора уже превратить больничную кассу в место явок, собраний большевиков, для агитационной работы.

На другой же день Малышев ушел из магазина Агафурова и поступил в больничную кассу секретарем.

Наташа, узнав об этом, просияла, хоть и избегала смотреть на него.

— Сердишься, что с занятий тебя выпроводил? Напрасно. Теперь мы с тобой вместе работать будем, а может и в литературный кружок тебя примем. Давай-ка пересмотрим книгу записей о помощи увечным и больным. Теперь мы будем решительно вмешиваться в конфликты между администрацией и членами профсоюза. Поняла?

Словно подтверждая его слова, в комнату вошел рабочий. Изможденное лицо, одна рука болталась, как плеть. Он сразу заговорил, глядя на Малышева.

— Вот значит как, еще в прошлом годе руку мне в прокатке отдавило. Ребята говорили, дескать, раз на работе случилось. Помощь обещали. А управление отказало. Будто я это по собственной вине. А где уж по собственной-то… — в печальных глазах его были боль и гнев.

— Они все увечья неосторожностью объясняют. Садись, товарищ, рассказывай все.

От слова «товарищ» рабочий покраснел, взглянул на Ивана, на кассиршу, сел, успокоенный и смягченный.

— Вессонов моя фамилия… Степан.

— Вот так, товарищ Вессонов, завод искалечит и выбросит человека за ненадобностью и защищать его некому: профсоюзы сведены на нет. Больничная касса почти не помогала: все решали в ней сами хозяева. Огородик то имеется?

— Как не имеется! Я вот с рукой-то никуда не годен. Все лежит на бабе, — рабочий выругался, оглянулся на Наташу и добавил: — Ребятишки мал мала меньше. Баба то почернела вся, как головешка.

Малышев попросил его написать заявление о помощи.

— Не могу. Рука перышко не держит. Уж ты, Иван Михайлович, сам, или вот барышня пусть напишет.

— В профсоюзе не состоишь?

— Как не состою!.. Толк-то какой! — с горькой усмешкой отозвался прокатчик.

Пока Наташа писала заявление, Малышев вполголоса говорил:

— Получает человек восемнадцать рублей в месяц, работает

по тридцать часов, по-человечески его никто не назовет, штрафами пугают. О технике безопасности никто не думает! А все потому, что мы не протестуем по-настоящему!

— Так ведь как протестовать-то?

— Бакинские рабочие нашли, как… Да и по всей России прокатились забастовки. Тебе почему живется трудно? И всем почему трудно? В мае у нас, на Урале, тридцать тысяч рабочих бастовало. Тридцать тысяч! А тебя в этой общей пролетарской борьбе не было.

— Куда уж мне! — отмахнулся Вессонов. — Рука навек сознание помутила. — Он выругался снова.

— Рука борьбе не помеха. На нашем Верх-Исетском заводе самые передовые рабочие.

— С рукой все… — прокатчик с ненавистью оглядел свою повисшую руку.

— Впервые наши рабочие требовали и условия труда улучшить, и расценки пересмотреть. Мастеров, которые особо зверствовали, требовали снять. И митинг провели.

— Слыхал, баба рассказывала. И гудок чуть не целый день шумел, слышал. Хворал я… — оправдывался прокатчик.

Когда он ушел, Малышев неожиданно спросил Наташу:

— Ты Евангелие читала?

Девушка впилась в него глазами, подозревая насмешку. Но лицо его было серьезно, даже печально. И она кивнула.

— Воскресенье ты как проводишь?

— Ну, с утра — к обедне. А после — дома…

— Приходи сюда в воскресенье. Мы вместе почитаем Евангелие…

Наташа жила в Верх-Исетском поселке. Отец ее — ремесленник, часовщик. Семья — религиозна. В церковь ходили все вместе. Иван понимал, что девушке трудно вырваться.

Однако она согласилась:

— Я скажу, что пойду в другую церковь с подружкой.

— А разве врать господь разрешает? Ведь даже помыслы тайные известны ему, даже волосы на твоей голове сочтены господом, — осмотрев внимательно Наташины косы, вздохнул: — Ох, и трудно было господу твои волосы сосчитать…

Нет, он не смеялся. От него исходила добрая сила. Сколько ни смотрела на него девушка, ни в глазах его, чуть зеленоватых и всегда веселых, ни на полных губах не было и тени усмешки.

— Хорошо, я спрошусь у мамы… Я и сама врать не люблю…

Малышев не спал ночь, изучал Евангелие.

«Неужели я не смогу сломить веру этой девочки? — думал он. — Надо показать всю ложь церкви, все зло»

XVI

Наташа прибежала в воскресенье в кассу, как только затрезвонили к обедне церкви Верх-Исетска.

Торжественно развернув книгу, Иван Михайлович уселся за стол рядом с девушкой.

— Читай сама, мне ты не поверишь.

Наташа перекрестилась, поймав его улыбку, недоверчиво сжалась.

— Ну что ж, начинай… Постарайся вдуматься в то, что читаешь. Нам нужно все понять, чтобы никакой тайны не осталось, тогда нам ни бог ни черт не страшны! Ведь люди боятся только того, чего не знают.

— От Луки. Глава двадцать вторая, — благоговейно начала Наташа. Голос ее, ровный, глуховатый, казалось, шел издалека, дрожал: — Весь народ приходил слушать Иисуса в храме… И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа.

Малышев, прервав чтение, уточнил:

— Значит, на стороне Иисуса был народ, а остальные хотели его гибели? Так?

Наташа, кивнув, продолжала:

— «Появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иудой, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его… Вся толпа схватила Иисуса и потащила к первосвященникам»..

Иван снова уточнил:

— Значит — сам народ его схватил?! А теперь прочитай вот здесь, у Пилата…

— «Весь народ стал кричать: «Смерть ему! Распни его!»

Иван в растерянности развел руками.

— Как же так? Накануне народ приходил в храм послушать Христа, а первосвященники с Иудой искали случая втихомолку, не при народе схватить его. А тут вдруг весь народ требует его казни?!

Тонкое лицо Наташи было сосредоточенно и строго.

Иван сдержанно комментировал. Его убежденность покоряла. Когда он говорил о противоречиях в Евангелии, Наташа читала эти места снова. Убедившись, огорченно клонила голову, будто ее глубоко и безнадежно обманули:

— Верно ведь!

Взгляд Ивана Михайловича, задумчивый и пытливый, волновал.

— А вот здесь Лука пишет, как Христос внушал своим ученикам послушание и сравнивал их с рабами. Он и мысли не допускал о том, что раб может не повиноваться! Слушай, что он говорил: «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет: «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам?» Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все поведенное вам, говорите: «Мы — рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»… — Иван спросил, заглядывая в глаза девушки: — Это что же такое? Значит, Евангелие утешает народ, убеждает не волноваться, когда его грабят! Терпи! Терпи, когда тебя бьют! Не противься этому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую! Вот слушай, что пишет Матфей в главе пятой: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Почему? Кому это нужно? Не тем ли, кто эксплуатирует народ?

— Довольно, Иван Михайлович, не надо! — взмолилась Наташа. Плечи ее судорожно подергивались.

Малышев смолк. Чисто учительская привычка: пусть подумает сама. Он закрыл книгу.

Молчаливая, притихшая, Наташа поспешила уйти.

Иван долго сидел в бездействии. Нужно было писать докладную записку о деятельности больничной кассы завода, о помощи, которую получают рабочие, но мыслей не было. Никогда не случалось, чтобы он не мог заставить себя работать. Перед ним стояла Наташа, влажные губы ее вздрагивали. Он сегодня разрушил в ней целый мир, посеял сомнение. Что-то взойдет на месте утраченных иллюзий?

Целую неделю Наташа была подавлена, часто забывалась, сложив на столе руки, вперив в окно пустой взгляд.

Иван пожаловался товарищам:

— Потеряла веру, потеряла себя.

Как могли, все старались вывести девушку из этого состояния.

— Ходил я на вокзал… Ох, и беженцев там! С детьми женщины неделями сидят на узлах. А барыни ходят между этих узлов и людей, брезгливо платья приподнимают и суют беженцам по копейке… — рассказывал Похалуев, поглаживая косматую черную бороду и поглядывая на Наташу.

— Это они называют «благотворительностью». Нет, нам нужно вырвать беженцев из рук буржуазных дамочек, — произнес

Иван, тоже кося глаза на Наташу.

Она по-прежнему молча смотрела в окно пустыми глазами.

Разговор прервала Люба Терина, одетая в подвенечное платье. Она вбежала в комнату, рухнула на табурет, сорвала с головы свадебный восковой венок и зарыдала.

— Что случилось?

Люба всхлипнула:

— Где мой Костя?

Иван ответил:

— Он уехал в Лысьву… Мы тут собрали денег… он их увез.

Люба почти с ненавистью взглянула на него.

— Вот вернется, я ему покажу «Лысьву»! Договорились. Я его с подружками в церкви Михаила святого жду. Его нет. Батюшка волнуется. Мне стыдоба! А его все нет. Батюшка уж приказал выйти, хотел церковь закрыть. А он, мой-то, явился, продышаться не может. Ну и ладно бы! Батюшка начал нас венчать. Так мой-то прервал службу… попросил: «Ты, отец Павел, покороче. Некогда, говорит, мне. Важное дело доверено». Да раз пять так-то. Батюшка еще «многие лета» не провозгласил, а мой-то уж был таков! От подружек стыдоба, от родни — еще больше. Я убежала. Ведь только кольцами обменялись! Ну скажите мне — вышла я замуж или нет?

— Ну-ка, плесните на нее водой, чтобы остыла!

Кружковцы еле сдерживали смех. Сначала хохотнул в кулак один, затем другой. И вот смех, оглушительный, как рокот, раздался из всех углов.

Наташа как бы очнулась, окинула всех гневным взглядом.

— И не стыдно смеяться! Это же горе навеки! Пойдем домой, Люба, я тебя провожу…

— Куда я пойду: жених из-под венца убежал! — Люба снова забилась в плаче, уронив растрепанную голову на стол.

Иван Михайлович ласково склонился над ней:

— Завтра Костя вернется. Не знал я, что у него сегодня такой день! Иди, Люба, к нему домой, Наташа проводит.

Наташа, уходя, не выдержала, рассмеялась сама:

— В воскресенье, Люба, приходи сюда поутру. Иван Михайлович обедню здесь не хуже любого священника отслужит. Он мне уж все грехи замолил.

…Однако заниматься в следующее воскресенье Наташа не захотела. Небрежно отодвинула Евангелие.

— Пойдемте лучше гулять, больше будет пользы!

Голубой газовый шарф подчеркивал голубизну ее глаз. Иван внимательно посмотрел на ее лицо, на пышные волосы, на ласковые задорные губы, с радостью и гордостью подумал:

«Неужели это я… неужели мне довелось сделать другого человека счастливым».

Осень стояла сухая, мягкая.

В переулках ребятишки играли в бабки. На завалинах сидели старики, по площади у заводского магазина, обнявшись, шли под гармошку мобилизованные, пьяно горланили песни, орали угрозы немцам, с которыми завтра их погонят воевать.

Было бесконечно жаль парней: они идут воевать, не зная за что.

Миновали пустырь, отделявший поселок от города, пересекли плотину.

Вода в пруду сверкала, как огонь. Дремали извозчики, сидя на козлах своих экипажей.

На скамейке на Козьем бульваре[2], огражденном штакетником, сидели две гимназистки с невинными глазами.

Одна, следя за Малышевым, говорила томно:

— Запомни же наконец: белый цвет означает невинность, малиновый — поцелуй.

Иван и Наташа дружно рассмеялись.

— Серый — глупость, — подсказал Иван мимоходом.

Наташа засмеялась громче. Он отметил, что она стала проще, веселее.

— У нас в прогимназии так играли. Еще играли с мальчиками в фанты. Целовались — это как штраф. Ради штрафов и играли.

— И ты?

— Нет, я не любила так играть и… целоваться.

Иван перехватил ее лукавый взгляд и почувствовал, что они чем-то связаны друг с другом.

Человек в солдатской шинели ковылял на костылях, медленно и трудно.

Малышев, замедлив шаги, тихо спросил:

— Отвоевался, товарищ?

Инвалид злобно выругался.

Иван встревоженно взглянул на девушку и удивился: она не покраснела, не отпрянула.

Инвалид, заикаясь, бессвязно рассказывал:

— Зимусь эшелон мертвяков замороженных отправили с фронта… Головами и вниз, и вверх в теплушках поставили, чтобы больше ушло. Жили — не люди, умерли — не покойники. А я за что воевал — не знаю. Не знаю — и все. Я вот в деревню должен свои костыли везти… А как там жить? Меня ждут, работничка. А я — нероботь!..

Постукивая костылями, солдат пошел дальше.

— Давай считать, сколько калек нам встретится, —

предложил Малышев. Девушка кивнула.

Инвалидов было особенно много у харчовок. Встретился молодой парень с пустым рукавом. А вот опять костыли.

Наташа считала.

— Пятый, шестой.

Иных Малышев останавливал, говорил с ними о войне. И опять не удивлялась Наташа, слыша его вопросы:

— Кому же нужна эта война? Богу? — И не бежала от ответной брани.

— Как на них слово «товарищ» действует, заметил? Магическое слово, — сказала она.

Иван следил за ее губами, видел настороженно сдвинутые брови. Слушал, с трудом веря тому, что она говорила, жмурился, словно поток света и тепла исходил от нее.

За двадцать минут они насчитали восемь инвалидов. Оба помрачнели, отводили глаза, точно в чем-то были виноваты друг перед другом. Молча повернули обратно.

Уктусская улица[3] с торговыми рядами, толчком, зеленым рынком пустынна в этот час. А на площади даже и по воскресным вечерам обучали новобранцев.

Иван как бы для себя отметил:

— Вместо винтовок — палки в руках. Стрельбе обучают солдат на палках. Довоевались. Оружия-то нет… — и замолчал, о чем-то думая.

Стемнело.

Дворники начали зажигать редкие фонари. Луна ныряла меж тучами.

— Мы все переделаем, — глухо произнес еще Иван.

— Я знаю, — отозвалась девушка.

«Что она может знать? Сидит в кассе, помалкивает. Кое-что она, наверное, и слышала от нас. Но занимаемся мы там по вечерам, когда ее нет…»

Наташа с лукавым сокрушением прошептала:

— Так мы Евангелие сегодня и не читали! Но будь спокоен: я за неделю его так вызубрила! Мать даже радовалась: как же, дочь целые ночи со святым писанием не расстается! Знала бы она! Я столько противоречий нашла! — девушка взглянула на Ивана: — Это ты мне помог.

— А ты мне хочешь помочь?

— В чем? — с радостной готовностью воскликнула она.

— Вот эту записку надо отнести Давыдову. Сейчас же…

— Отнесу.

— Но если попадешься в руки полицейских, ты записку съешь.

— Как — съешь?

— Как едят?

— Да если и не съем, пусть мне каленые иглы под ногти вкалывают, я ни за что тебя не выдам!

— Ну уж, сразу и «каленые иглы»! Я тебе верю, Наташа.

— И я тебе, знаешь, как верю?! И вижу, что бы ты ни делал, все ты делаешь не для себя, а для всех.

В записке стояли ничего не значащие слова: «Буду у тебя завтра». Ни обращения, ни подписи. Это была условленная с Давыдовым проверка девушки.

Уходя, Иван твердил себе, точно оправдываясь:

— Так надо… Так надо.

На следующий день Иван, узнав, что Наташа выполнила поручение, передал ей пачку книг, завернутых в газету.

— Сохрани у себя: ваш дом вне подозрений. Если хочешь, посмотри, почитай…

Теперь он все приносил и приносил ей книги.

— Спрячь.

— А почитать?

— Можешь.

С каждым днем он давал ей поручения посерьезнее: раздавать брошюры по списку в цехах или незаметно передавать листовки надежным людям.

— Только меньше улыбайся, а то у тебя зубы приметные. Не зубы, а кремлевская стена. А нам особых примет иметь нельзя.

Листовки появлялись всюду: в инструментальных ящиках рабочих, на письменном столе управляющего, в конторках бухгалтеров.

Видеть Наташу каждый день, разговаривать с ней стало для Ивана потребностью. Он пугался своего чувства: «Я обо всем забыл. Я же не могу… пока общая наша задача не выполнена!»

Никогда, казалось, он так много не пел. И даже не вслух, а про себя. Шел на собрание, на кружок, на работу, возвращался домой, а в нем все бродили какие-то напевы.

Наташа предложила снова встретиться.

— Наташа, дорогая, некогда, завтра! — удрученно ответил он.

Она обиделась:

— Все некогда и некогда!

«Я стал для нее необходимым! — с радостью отметил Иван. — Как и она для меня».

Но не мог же он ей сказать, что работает среди солдат, что возглавляет большевистскую организацию города.

Уже смелее он вводил ее в круг своих интересов. Случалось,

что и во время работы говорил о том, что его занимало. Она удивлялась, как он мог читать, конспектировать среди шума, в присутствии посторонних.

Раз у Наташи вырвалось:

— Ну и мне ты давай какую-нибудь работу. Я хочу с тобой!

Он, обрадованный, рассмеялся:

— Ты уже работаешь. Разве ты не замечаешь, что ты давно работаешь?

Иван думал: «Я не должен жениться. Я не имею права жениться. Я должен жить для дела».

Иногда целыми днями они не разговаривали. Она приходила и уходила. Еще не затихали ее шаги, а волнение снова охватывало Ивана. Порой же, не выдержав, они бросались друг к другу. Понемногу он рассказал Наташе всю свою жизнь, тюрьмы, ссылку, встречи с товарищами.

— Я себе не принадлежу. Меня любить страшно.

Наташа слушала с улыбкой, ничего не подтверждая и не отрицая; но вот по лицу ее скользнуло гордое, смелое выражение:

— А мне не страшно любить! Это ты, а не я, боишься любить. Боишься, что испортишь кому-то жизнь.

Только у Вайнеров Малышев обретал покой. Дружелюбие этой семьи привлекало многих.

Вайнер готовил в городе пропагандистов. Он всегда сообщал что-нибудь интересное:

— В нашу группу прибыло еще несколько человек: журналист Лев Сосновский, Завьялова Клава. Она заведует биржей труда. Такая статная и строгая. Женщин у нас много: Ольга Мрачковская, моя Елена. Да всех и не перечислить. И все семейные. Один ты болтаешься холостой. «Ходит Ваня холостой».

— Перестань дурачиться, — отмахивался Малышев: — Я не имею права жениться.

— Что-о? Это почему? Ты слышишь, Елена, что он говорит!

Леонид сильно закашлялся. Его частый сухой кашель напомнил Ивану Евмения Кочева, Фоминку. Они с Еленой тревожно переглянулись.

— Простыл, вспышка опять, а не лечится! — пожаловалась она. — Мне надо только им заниматься, — она сделала ударение на слове «только», — насильно кормить, выводить гулять…

Вайнер возразил:

— И без меня дел много! — и в свою очередь пожаловался на жену: — Волосы сняла свои… Ах, какая была у нее коса! Обрезала! Говорит, некогда следить за ней!

Елена Борисовна слушала его с чуть заметной насмешкой:

— Глядите-ка, и что косу я сняла — заметил!

Вайнер продолжал задумчиво:

— Видимся мы случайно, дел на нас навалилось! О себе-то и забываем. Оглядишься порой и вдруг поймешь — да ведь это моя жена! Мой помощник во всем!

Иван знал, что Елена Борисовна ведет большую партийную работу, учитывает беженцев, устраивает их жизнь, возглавляет лавочную комиссию кооперативного потребительского общества. Помогает солдаткам письма на фронт писать. В каждый конверт сует листовку, призывающую превратить империалистическую войну в гражданскую…

Иван мечтательно проговорил:

— Объединим партийную работу, создадим единый руководящий центр и обязательно отправим тебя лечиться, Леонид. Столько работаешь! Одна связь с Невьянском, с Мотовилихой, с Челябинском сколько сил берет!

От кашля на лице Вайнера выступила мелкая испарина. Он устало прилег. Елена Борисовна прикрыла ему ноги платком, села рядом, поглаживая его руку.

— Помолчи, отдохни…

Идя по ночному зимнему городу к своей квартире, Малышев с болью думал: «Много работает Леонид. Но разве его остановишь? Борьба. Питание плохое. Цены на продукты с каждым днем растут. А ему необходимо питание. На собрания Леонида по возможности не пускать! Мы с товарищами можем взять их на себя. Собрания надо проводить стремительно, чтобы не схватили! А он закашляется и обессилеет… Раньше он хорошо держался! Собрания, собрания, лозунги «Прекратить войну!». Решаются такие вопросы, а я думаю о девушке!» Глаза Наташи то и дело возникали перед ним, смотрели с упреком, с восхищением, большие, открытые, с голубизной.

Утром, войдя в больничную кассу, он усилием воли заставил себя не взглянуть на девушку.

«Пусть так и будет! Пусть так!» — говорил он себе.

Приходили товарищи. Неожиданно вернулся из армии Парамонов. «Не прошел испытаний в военное училище!» — хитровато улыбаясь, сообщил он.

— Ну что ж! У нас ты все испытания прошел! — смеясь, приветствовал его Иван. — Нам каждый нужен!

Они создавали организацию. В кружках необходимо в короткий срок подготовить пропагандистов, агитаторов, организаторов…

Наташи уже не боялись, считали ее своей. Поглядывая на нее, Давыдов восхищенно говорил:

— Женщины очень помогают… Елена Борисовна Вайнер, моя

крестная, кружок — ох, как хорошо ведет!

— И мой крестный многому меня научил, — задумчиво подхватил Малышев. — Дядя Миша… повесили его. Пытки научил молча терпеть… Думать, учиться… А ты знаешь, что такое Николаевские роты?

— Не хвастай. Я знаю, что это такое.

Наташа, побледнев, следила за ними. Теплая волна счастья прихлынула к сердцу Ивана.

Как всегда, и в этот вечер Иван уходил из кассы последним. У крыльца его ждала Наташа, ежась от холода в легком черном пальто. Пуховый платок не спасал от холода.

Иван молча взял ее под руку.

Падал синий теплый снег. Ветер морщил на пруду серую воду.

К церквям собирались люди на вечернюю службу. Подъезжали экипажи, мельтешили старухи в длинных салопах.

Под фонарем шуршала полуоборванная афиша, кричащая о том, что в ресторане «Поле-Рояль» на Главном проспекте[4] устраивается маскарад в пользу раненых воинов.

— Барыньки потешаются.

Тихий смех девушки отдался в ушах.

— Выручат за пляску, выдадут по три рубля безногим-безруким: живи, солдат! — эти слова были те самые, которые она должна была сказать.

Иван положил руку ей на плечо. И обругал себя: «Откуда у меня такая робость?»

Тяжело хлопали на пруду волны, шипели, разбиваясь о сваи. Волновался темный пруд. Во дворах плескалось на веревках белье.

Подгулявший встречный, проходя мимо, громко пропел:

Распроклятый наш завод
Перепортил весь народ:
Кому палец, кому два,
Кому по локоть рука.

— Ну-ка, Наташа, запомни частушку.

Они вместе повторяли ее и смеялись; смеялись без причины, когда прочитали на углу название улицы:

— Заречная… да ведь мы одну Заречную прошли, сколько же их?

— А у нас Заречных много. Опалих больше десяти Ключевских — тоже.

— На другие названия фантазии у градоначальников не

хватило?

Наташа радостно невпопад рассказывала:

— Я много теперь читаю! Так много! Толстого, Герцена, Чернышевского.

— А для чего?

— Что для чего? — в голосе Наташи неподдельное удивление.

— Читаешь для чего? — повторил Иван. Он не терпел неправды, как бы ни маскировалась она, и теперь упрямо доискивался, подняв на девушку сощуренные глаза: Для чего?

Наташа сквозь смех спросила:

— Неужели не понимаешь — для чего?

«Вот она сейчас скажет, что готовит себя для борьбы…»

Но Наташа, не дождавшись ответа, закончила.

— Чтобы догнать тебя… Чтобы быть тебе всегда интересной.

— И только? — Малышев остановился, повернул за плечи девушку к себе лицом и повторил: — И только?

Уже серьезно она ответила:

— Нет, не только. Чтобы быть в борьбе с тобой вместе!

— Ради меня или ради борьбы?

Оба притихли, встревоженные, понимая, что от ответа теперь зависит многое.

Тихо прошелестел голос девушки:

— Ради борьбы, — но она все-таки добавила с гордым вызовом: — Вместе. Чтобы леса и небо, и земли — все передать народу. Вместе.

— Вместе! — как клятву, подтвердил Малышев, страстно и радостно.

XVII

Больше им ничего не мешало.

Ни сплетни досужих кумушек, ни их лукавый двусмысленный шепоток, даже слезы матери, которая прибегала теперь в кассу, чтобы увидеть дочь и внушить ей, что без венца… что проклянет… Ничего не было, ничего не мешало.

У Наташи появилась особая легкость в походке.

Жили они на Студеной улице[5], во флигеле в глубине двора. Флигель состоял из одной комнаты с маленькой нишей, в которой устроили кухню. В комнате стояла узкая деревянная кровать, покрытая полосатым байковым одеялом, стол да два табурета. Единственное окно, выходящее в сад, было до половины завалено книгами.

Вблизи, в том же квартале, — пивнуха, харчовка и публичный дом. Там частые драки, но сюда не доносился пьяный шум.

Жили они…

«Но живем ли мы вместе?» — спрашивала себя Наташа и грустно улыбалась.

Через неделю Иван исчез. Она знала: заметил слежку, ночует у товарищей. А вдруг арестован?

В окна били снежные хлопья, навевая тоску. Наташа думала:

«Замерзнет… И чего же я не проследила, надо бы ему шапку надеть».

Она не спала, металась по комнатке.

Чуть свет Наташа, скользя и падая, побежала к Вайнерам.

Навстречу неслышно шли с ночного дежурства в лазаретах послушницы в бархатных куколях.

Нужно было пройти почти весь город. Вайнеры жили через дом от кинематографа «Колизей»[6], в полутемной комнате, вход со двора, в который с улицы вела арка. В толстом кирпичном фундаменте — тайник. Наташа узнала о нем, принеся как-то Вайнеру литературу.

Когда она рассказала о своей тревоге, Леонид ласкающим шепотом произнес, не глядя на нее, как будто говорил с собою:

— Успокойся. Сейчас большевики стоят во главе всех легальных организаций Екатеринбурга. У нас создано уже семь больничных касс… а секретари в них — наши люди. А Миша, то есть Иван твой, и говорить трудно, сколько он работает!

— Мне страшно… Я жена его, он мой! Дома пусто…

— Ты заблуждаешься. Ты противопоставляешь себя, личное — общественному.

Елена Борисовна ворчала:

— Совсем испугал девочку.

— «Комитет помощи беженцам» целиком в наших руках. Его мы используем для укрытия бежавших из тюрем и ссылки товарищей. Под видом беженцев мы снабжаем паспортами бежавших политических.

— Для чего ты это говоришь? — перебила Леонида жена.

— Пусть знает, чем занят ее муж!

Сухой горячий блеск в глазах Вайнера смягчился. Но говорить он продолжал так же строго:

— Мы мечтаем создать Уральский областной комитет партии… Отвоевали у меньшевиков много легальных организаций: «Горно-заводский попечительный приказ», «Комитет помощи солдаткам и семьям погибших на войне».

Превратили их в опорные пункты нашей работы, использовали для пропаганды наших лозунгов, расширили связи с рабочими; мы предупреждаем всякие стихийные выступления, направляем людей на путь революционной борьбы за свержение самодержавия.

— Для чего ты ей все это говоришь? — опять спросила его жена.

— Пусть знает! — вскрикнул Леонид, досадуя, что ход мыслей его прервали. — Вот чем, Наташа, занимается твой муж. Он твой? Твой муж, и все-таки будет делать то, что должен. Для всех. Если ты хочешь сохранить эту дружбу — меряй свое чувство его чувством. Ты поймешь. Сейчас он в Ревде и сегодня вернется. Я не смог тебе сообщить раньше.

Леонид чувствовал себя лучше, был весел.

Вечером Вайнеры пришли к Наташе сами. Наташа сидела заплаканная. Окно было плотно занавешено одеялом. Подоконник погребен под книгами и газетами. Елена каждую книгу брала в руки и читала:

— Тимирязев «Жизнь растений»; Дарвин «Социальная жизнь животных»; Герцен, Конфуций, Лютер, Меттерних, Гарибальди! — то были книги, которыми Малышев успел окружить жену.

Вскоре вернулся и сам Иван, разрумяненный морозом, улыбчивый, оживленный.

— Ну вот, остановили в Ревде доменные печи. Нельзя было это пропустить… Пришлось помитинговать. Рабочие придумали новый вид забастовок: никаких требований не выдвигают, стачки не объявляют, а между собой договорились — до десятка человек ежедневно в цех не являются. Все военные заказы у хозяйчиков полетели! Уже семь тысяч рабочих на Урале бастуют! Здорово! На Невьянском заводе люди приходят на работу, встают на свои места и не работают. Тоже своеобразная забастовка.. Арестовано

семнадцать человек, рассчитали семьдесят.. В Кунгурском уезде бунтуют крестьяне, не дают для войны продукты. Рожь и овес с подвод высыпали в снег. Растет народный гнев против войны. Здорово?!

Наташа вскипятила чайник. Елена принялась открывать принесенный с собой сверток. Здесь была солонка, чашка со стаканом, какой-то платок…

— Пригодится, Наташа. Ушла из дому ты в одном платье, ничего не взяла.

Чай пили в этот вечер Вайнеры из консервных банок, а молодые — торжественно — из первой в их семье настоящей посуды.

Иван смеялся:

— А я всю жизнь думал жить налегке.

Вместо чаю заварили сушеный лист брусники. Но даже и это служило причиной смеха и хорошего настроения.

Елена начала причесывать Наташу под молодушку. Иван кричал:

— Забирайте волосы вверх! Хорошо, когда лоб открыт.

Наташа трепала его кудри:

— А куда твои вихры убрать?

Вайнер требовал:

— Свадьба когда? Я хочу свадьбы.

— Мы тоже хотели, — смеялся Малышев, — но мы уже женились.

— Ах, вы отделываетесь от нас? Елена, дадим им отделаться от нас или нет?

— Нет, конечно!

— Но как же их женить? Поведем в церковь?

Малышев отшучивался:

— «Поведем!» Тоже мне! Да вас, несчастный народ, евреев, в нашу церковь не пустят!

Вайнеры весело смеялись:

— А мы в синагогу вас поведем.

— Шутки шутками, а давайте обсудим, каким будет брак, когда мы победим? Не пойдем же мы в самом деле в церковь! Каким будет брак?

— Крепким.

— Но ведь его нужно как-то закреплять?

— Любовью. Гражданский брак не запрещается.

— Да нет! Государство должно учитывать семьи. Государство-то должно? Это же будет нужно?

Закипел шумный веселый спор. От тревоги и обиды Наташи не осталось следа, она вся враз расцвела, исчезла застенчивость,

скованность. Иван шумел:

— Моя «незаконная» жена! Подай мне галстук! — и тут же обращался к друзьям: — Смотрите, ведь подала! Жена да убоится своего мужа!

— Наташа, ты не подавай, ни за что не подавай, — шутила Елена. — Ты говори в таких случаях: «Возьми сам». Мы идем к равноправию.

— Что вы, Елена Борисовна, а если мне радостно подать ему галстук? Он и так не дает мне шелохнуться! — и с ужасом, с возмущением Наташа воскликнула: — Он даже постель заправляет сам!

— Так жена у меня неженка. Любит поваляться в постели с книжкой, — жаловался счастливый Иван. Но в голосе его вдруг зазвучали строгие нотки: — Ведь лежа ты уже отдыхаешь, а не работаешь… Так, Леонид?

— Да, да… В этом, Наталка, ты его послушай. Он знает.

— Послушаю, обязательно послушаю! — Наташа была полна жизнерадостности, дружелюбия, задора. Счастье светилось в улыбках, которыми они обменивались с Иваном, в том внимании, с каким они предупреждали желания друг друга.

Мирный веселый вечер прервался стуком в дверь.

— Полиция?!

— По стуку — не похоже.

То были родители Наташи. Они приехали на извозчике, нагрузив кошеву узлами. В открытые двери в облаке мороза полетели из сеней на середину комнаты подушки, матрац, узлы.

Наташа поднялась, оробевшая вдруг, смущенная:

— Мамочка…

Отец неприязненно произнес:

— Не разговаривай с ней, мать. Я сам скажу: мы, так и быть, не проклянем вас. Живите. Только, Наталья, не позорь нас! Венчайтесь. А то… прокляну.

— Мы не можем венчаться, папа, — тихо, но решительно объявила дочь. — Мы не верим.

— Мать, ты слышишь? Нет, ты слышишь? Прокляну ведь ндравную! — хриплый голос отца звучал так беспомощно, так слабо, что Наташа улыбнулась. Он снова восстал: — Ты видишь, мать? Она еще скалит зубы!

Малышев усадил отца, начал говорить что-то ласковое. И старик обмяк, глядя на зятя пристально, с любопытством.

— Ты, если вкрался ей в доверенность, побереги ее от худой славы…

— Да что вы, какая слава!

— Только — чудно́! Слыхал я, Иван Михайлович, ты всюду

кричишь, что собственность — преступление! Собираешься перевернуть жизнь?.. Так зачем тебе жена, да еще моя дочь? — И тут же кричал: — Мать, Мария Михайловна, а он ведь — ничего… Он вроде ее не бросит!

Та, не слушая, развязывала узлы, ставила на стол какие-то кастрюли, бросала на кровать платья, гимназическую форму, варежки, обувь, подзоры с кружевами, скатерти.

— Мы не какие-нибудь обсевки… Мы дочь свою в одном платье не выпустим.

— Форму-то мне зачем? Оставь сестренкам, — вмешалась наконец Наташа.

— Ну, форму-то, и верно, я возьму. Новой не покупать.

— И вот это… — Наташа подала матери еще какое-то платье.

— Ну и это… Мало́ тебе. Возьму, — согласилась Мария Михайловна.

Вайнеры рассмеялись.

— А это что за люди? — строго спросил отец.

— Наши друзья.

— Такие же голодранцы, видать.

— Такие же! — в голос подтвердили Вайнеры.

Это старику понравилось. Он сел ближе к столу и потребовал:

— Налейте-ка и мне чаю.

— И зять ваш — голодранец, — продолжал Вайнер. — За это ему в его двадцать пять лет и имя с отчеством!

Наташа виновато вставила:

— Мы ведь, папа, бруснику завариваем, чаю-то нет…

— Удивила! Все теперь бруснику или кипяток пьют, — в быстром говорке отца было что-то лихорадочное: — Только — венчаться… Это ведь невиданно — не венчаться! — вскипев снова, он вскочил и, потрясая над головой руками, пошел к дверям, рассерженный. — Прокляну!

Мария Михайловна шепнула, уходя за ним:

— Не проклянет.

Леонид смеялся:

— Признали они зятя зятем, дочь дочерью!

Ночью Наташе не спалось. Она глядела на склоненную над столом фигуру мужа, молчала, чтоб не мешать. Наконец поднялась, накинула ему на плечи пиджак, заглянула в исписанный листок, вздохнула.

— Что с тобой?

— Не знаю, как сказать. Но ты не будешь смеяться надо мной? Скажи, правда, не будешь? Ты не качай головой, а скажи.

— Не буду.

— Вот… вижу я, что и без меня ты много делал… и больно

мне, что без меня… И вообще, как это можно, чтобы без меня?!

— Понимаешь, девочка, некогда мне ждать тебя было…

Заводские гудки ревели протяжно. Густой, хриплый, непрерывный звук, казалось, выходил из недр и низко расстилался по земле. Начинался рабочий день.

Почтальон, далеко завидя Малышевых, махнул письмом.

Иван Михайлович тут же вскрыл конверт, весь светясь, сообщил жене:

— Киприян, дорогой друг Потапыч вспомнил.. В Питере он, мобилизован… Настроение в армии враждебное, «к свадьбе», это значит — к войне. Я обязательно использую это на собрании!

Неожиданно Иван Михайлович потребовал:

— Поздоровайся со мной, Натаха… Руку подай.

Та, не понимая, протянула руку. Он подал ей свою свернутую горсточкой ладонь.

— Что с тобой, Ванюша?

Тот взволнованно сказал:

— Вот так Киприян всегда здоровался — горсточкой… Письмо его я обязательно на собрании использую!

Вечером к Малышевым неожиданно собрались друзья.

Петр Ермаков кричал:

— Не сопротивляйся, Наталка. Мы решили все-таки вам свадьбу устроить.

Гости нанесли подарков: два стула, семилинейную лампу, посуду, продуктов. Елена Вайнер захлопотала около плиты. Леонид украшал стол букетом из пихты, вместо вазы — глиняная кринка. Петр чистил картошку.

— Где же Миша так долго? — звонко спросил Василий Ливадных.

Наташа, вся сияя, объявила:

— Сегодня приняли меня в партию.

— Ура!

— Нашего полку прибыло.

— Это мы сегодня отметим!

— Только живой работы мне на дают… Говорят, что зубы у меня шпикам приметные. Ваня их кремлевской стеной зовет!

Ливадных объявил:

— Слушайте, я на днях песню услышал. Мотив не уловил, а слова запомнил.

— Читай, Вася!

Тот начал:

Как двадцать лет мальчишка
Колодочки надел,
В синю пестрядь обрядился,
На шуровочку поспел.
Этак года два проробил,
На урода стал похож.
Ясны глазки призатухли,
А работай — хошь не хошь!

И оглядел всех блестящими с хитринкой глазами. У него почти квадратное лицо. Густые темные волосы стоят ежиком, и Ливадных то и дело приглаживает их большущей ладонью.

Вайнер сказал:

— Вот вам народное творчество!

— Ну, стихи, скажем прямо, не очень… Однако же — настроение.

— Настроение народа.

— Нет, а какова у Василия память?

Наташа не слушала стихов, то и дело выходила из комнаты. Все понимали — тревожится за мужа.

Наконец явился Иван, удивленно оглядел друзей, узнал, что они пришли к ним «на свадьбу», застенчиво и виновато улыбнулся. Наташа, помогая ему снять пальто, шепотом спросила:

— Что-то случилось?

Он молча ее поцеловал и снова виновато улыбнулся. Наташа вздохнула. Стоит у окна степенный Рагозин. Ливадных оглядывает всех смеющимися глазами. Ермаков с Еленой Борисовной хлопочут о чае, Похалуев выжидательно следит за хозяином. Это — друзья. «В другое время Ваня весь бы загорелся от радости видеть их у себя!» Наташу томило предчувствие беды.

Когда уже все сидели за столом, Малышев посмотрел на часы и сказал:

— Мне пора, братцы…

— Куда же?

— Что это значит: жених убегает!

Глядя на Наташу, Малышев сообщил:

— Дело в том, что я получил повестку в армию. И явиться должен на пункт через час.

Наташа, потрясенная, опустила руки.

— Они нарочно тебя… Ты им мешаешь!

— Значит, за веру, царя и отечество!

Наташа собирала вещи, совала их в заплечный мешок. Ей

помогала Елена. Малышев говорил:

— В армии я буду бороться против войны. Это просто хорошо, Наташа, что я буду в самой гуще событий! — Иван Михайлович забросил мешок на плечо. — Не провожайте меня… Не надо.

Судорожно обняла его Наташа.

За ним пошли мужчины. Когда утих скрип снега под их ногами, Елена сказала.

— Вот тебе и свадьба!

XVIII

В Саратовском юнкерском училище Малышев пробыл недолго. Острое воспаление легких свалило его с ног. Внезапно на занятиях он упал и потерял сознание.

В бреду кричал:

— Газету, газету спрячь, Василий!.. Наша партия отстаивает интересы народа… — Он звал Наташу, мать, бранил эсеров и меньшевиков. Кто-то крепко зажимал ему рот. Время от времени до сознания доходил простуженный голос Василия, товарища по училищу. Тот кому-то шептал:

— Читали, зарывались в снежный окоп, как в шубу. А вот она, шуба-то как обернулась…

Около койки больного часто сидел то Василий, узколицый, с черными усами юнкер, то строгая женщина в белом халате — врач, сторожа каждое его слово.

Иван понимал, что это — свои.

Желтые стены палаты то сдвигались, то раздвигались. Койка плавала между ними. Женщина-врач говорила кому-то о том, что у больного воспаление легких, что она постарается его списать из армии, что держать его в госпитале нельзя. И снова все погружалось для Ивана в серый туман, и плавало, и качалось, и надвигалось, давило.

И сколько длилось это, он не знал.

Потом понял, что он в поезде, что его куда-то везет строгий человек в штатском. Навязчиво билась одна мысль: «А где та… в белом халате? Она наша? Да, конечно, она — наша… Нас много. Нас очень много!»

Он ехал домой, к Наташе, к друзьям. Скоро узнает новости. И как хорошо, что у него есть Наташа, самый близкий человек.

Вот и город. Синий снег, темнеющая дорога, дремлющие извозчики в кошевах с заснеженными полостями.

Сопровождающий усадил Ивана в холодную кошеву, сел рядом. Голова больного клонилась к нему на плечо.

Они ехали в снежной ночи по неосвещенным улицам.

Наташа ждет. Сейчас он ее увидит. Сопровождающий ввел его в квартиру, Иван увидел Наташу, радостный испуг в ее глазах и сказал:

— Спать.

Наташа, вот она… возле! Она что-то говорила… Да, да, письмо от Маши. У сестры родился сын. Звать Михаилом.

Улыбнулся непослушными губами:

— Пусть больше нас будет, нас, Малышевых!

Он уснул, впервые не боясь бредить.

«…Почему же Наташа так отдалилась?» — думал Иван, незаметно разглядывая жену. Она сидела за столом, подперев маленьким кулачком подбородок, и читала. Лицо ее было, строго. Она стала неулыбчива, малословна. Иногда он видел ее ночью прикорнувшей на стульях. Но каждый раз, встречаясь с ним взглядом, она отводила глаза.

«Да-да, я приехал неожиданно и еще немножко чужой. Исхудал… и наголо пострижен. Она не может ко мне привыкнуть. Когда я болел, она изучала меня… А я совсем стал дикарем…»

Как-то к Ивану забежал Похалуев. Борода его поседела, и весь он был как-то суетлив и нервен.

— В Тюмени аресты… В Челябе — тоже. Нам многое стало ясно в людях. Из Кобякова большевика не получится, хоть Мрачковский его и таскает к нам… К эсерам открыто прет.

Несколько окрепнув, Иван начал выходить гулять.

Апрель шестнадцатого года был бурный: то рванется поземка, то стихнет, а то с кровли потечет блестящая и звонкая капель.

Недалеко от Верх-Исетска обучали солдат. Резкая команда, отсчет шагов и топот раздавались в морозном воздухе. Лица солдат уставшие, серые; Малышев смотрел на них со стороны и возвращался к дому.

Вечерами Наташа приносила газеты. Прежде всего он развертывал «Уральскую жизнь» и кричал возбужденно:

— Слышишь, Натаха, меньшевики агитируют рабочих выбирать своих представителей в военно-промышленные комитеты! Что за вздор! Это же буржуазная организация! Нет, как хочешь, а завтра я выйду. Некогда лежать.

Наташа молчала, глядела не мигая перед собой. Наконец сдержанно произнесла:

— Не советую…

— Да, понимаешь, я чувствую себя здоровым. Чертовски здоровым. Завтра я пойду, — сказал он с внезапной запальчивостью. — Надо помочь товарищам провести собрания. Не дать обмануть рабочих.

Первое свое собрание после болезни Малышев проводил на спичечной фабрике купцов Ворожцова и Логинова.

Встретили его радостно:

— Да ведь это Иван Михайлович!

— Поднялся, друг?! Похудел же ты!

— Вовремя пришел к нам, Михайлович!

Низкие своды корпусов, казалось, источали ядовитые запахи. Работницы (здесь работали в большинстве женщины)

бледнолицы, изможденны. Выделялась среди них невысокая, но крепкая сероглазая девушка, одетая в полушубок. Она манила рукой кого-то и кричала:

— Айдате сюда! О войне рассказывать будут!

— О войне, верно… Хотя бы то, что война эта окончательно расшатала царский трон.

— Айдате! — все прерывал Малышева голос сероглазой.

— Куренных у нас сегодня что-то боевитая! Речь, говорить собираешься, Маруся?

Девушка неожиданно густо покраснела и спряталась в толпе.

День Малышева был строго распределен. И в этот распорядок входила обязательная встреча с Вессоновым. Иван тщательно подбирал для него книги, обсуждал их с ним и каждый раз удивлялся тому, как быстро понимает все этот изувеченный человек, какие ставит вопросы, часто сам на них и отвечая.

— Ну, Иван, сегодня ты опять ползунка ходить учить будешь? — спрашивал он.

Иван смеялся:

— Ты не ползунок, а Илья Муромец!

Вечерами Иван сам читал, делал выписки, готовился и тоже смеялся над собой, говоря Наташе:

— А это я сам ходить учусь… Мне все кажется, что я ничего не знаю…

Наташа молчала. А ему так хотелось рассказать ей и о сероглазой Марии Куренных, и о Степане Вессонове, о силе, которую он в них подозревал.

Наташа не глядела в его сторону, не улыбалась, как прежде, углубленная в книгу.

Однажды в дверь резко постучали.

— Полиция! — шепнул Иван. — Ты не волнуйся, Натаха: у меня ничего не найдут… Только ты встречай их спокойно. Если даже и арестуют — будь спокойна.

Он не ошибся. Трое полицейских ворвались в комнату. Побледневшая Наташа стояла в стороне, сжав на груди руки.

Полицейские обыскали комнату: книги, рукописи разлетались по листку.

Ничего не найдя, жандармы ушли.

Уснуть Малышевы в эту ночь не могли. Наташу бил озноб. Иван бережно прикрывал ее одеялом:

— Испугалась? Для тебя впервые. Если меня арестуют, вот тот чайник — с двойным дном. На первое дно будешь для меня газеты и материалы укладывать, приносить в тюрьму, а сверху нальешь квас или молоко. Завтра Давыдову передай прокламацию, я сегодня написал, против войны. А когда

отпечатают, помоги распространять по заводам. И ничего не бойся! Да, еще молодежь наша собирает сейчас помощь для беженцев. Давай и мы хоть белья дадим.

Наташа поднялась, зажгла лампу.. Иван открыл сундучок. Выбирать не из чего, но одну, наиболее крепкую пару белья он завернул в газету. Наташа положила на стол сверток от себя.

Чуть свет за свертками пришли гимназистки Вера и Светлана.

Он усадил девушек к столу, сел рядом. Наташа отошла к окну, кутаясь в платок.

— Значит, работаете, девушки?

Светлана сверкнула глазами.

— Нас Елена Борисовна Вайнер заставляет столько читать!.. Нигде не можем найти Базарова и Степанова «Общественное движение в Германии в средние века и в эпоху реформации» и Бебеля «Женщина и социализм».

— А Ленин?

— Ленина папа достал. Теперь в плане кружка — помощь беженцам…

— …И бежавшим из ссылки, — напомнил Иван.

Нельзя было без улыбки смотреть на разгоряченные лица девочек. Шея Веры, обрамленная белым воротничком формы, была такая худенькая, детская, а взгляд стал совсем взрослым, озабоченным.

XIX

Начиная с первого мая шестнадцатого года уральские большевики жили особенно напряженно. Появился опыт, забастовки становились настойчивыми и продуманными.

Пропагандисты Екатеринбургской организации не сидели на месте: поехал один в Ревду — вспыхивала забастовка в Ревде; второй поехал в Миньярский завод — забастовка в Миньяре. Рабочие понимали смысл своего протеста — не дать выполнить хозяевам военные заказы, сорвать работу транспорта, обслуживающего нужды войны.

Малышев с Вайнером принимали у Давыдова связных из Кургана, из Верхней Туры, без конца печатали на гектографе листовки. На всех мелькали слова:

> «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! РСДРП. Екатеринбургский комитет».
>
> «…Уже более двух лет, как льется потоком человеческая кровь… Миллионы разоренных жизней, калек и сирот — результат этой ненужной для народа бойни».

…Вошли Кобяков и Вессонов. Последний возбужденно сообщил:

— Слышь, братцы, внимание нам оказывают: в комитеты промышленные зовут…

Иван Михайлович отложил валик, встревоженный тем, что Вессонов с Кобяковым вместе.

— А ты обрадовался, Степан?

— А как же? Впервые… не погнушались…

— Не погнушались, говоришь? Этот военно-промышленный комитет обслуживает войну! Участвовать в нем — значит изменить делу социализма!

Вессонов впился взглядом в лицо Кобякова. Потом согласно кивнул Малышеву:

— Я понял, Михайлыч, все… И кое-что еще…

Давыдов вставил:

— У нас есть партийная директива: бойкот этих комитетов. Мы будем принимать участие в выборах выборщиков, чтобы легально разоблачать эти комитеты.

— А по-моему, — участвовать в них! — вступил в разговор Кобяков. — Рабочие группы в них будут организующим центром!

Давыдов сидел неподвижно, уткнувшись подбородком в

грудь, сложив руки на коленях. Говорил медленно, от гнева перехватило дыхание:

— Это на предательство похоже.

— Будем на них опираться и возродим рабочее движение. Смотри-ка, начиная с войны, оно глохнет. Нет, я, например, войду в рабочую группу, — убежденно продолжал Кобяков.

Насмешливая улыбка скользнула по лицу Малышева, застыла в глазах.

— Это похоже на измену, Николай прав.

Кобяков ушел, хлопнув дверью.

Вайнер сердито проворчал:

— Считает себя умнее всех!

— Как все тупые и ограниченные люди, — вставил Давыдов.

— Надо очистить нам организацию от всякой швали!

— А мне вы дайте дело, да потруднее. Справлюсь я… — неожиданно заявил Вессонов, вскинул глаза на товарищей.

— Дадим, — ответили те.

Дома Иван рассказал Наташе о Кобякове — с насмешкой, о Вессонове — с гордостью. Они молчали. Нужно вывести, наконец, жену из этого состояния. Иван вполголоса запел:

Тяжело, братцы-ребята,
Тяжело на свете жить,
Зато можно ведь, ребята,
В вине горе утопить.
В утешенье нам дано
Монопольское вино.

Наташа спросила скупо:

— Откуда это?

— Пьяный пел.

Наташа видела, что муж после болезни все еще не оправился, бледен и худ.

— Посиди дома хоть вечер…

— К солдатам на плац надо, — сказал он, одеваясь. — Посмотрю… как там сегодня…

— Отдохнуть тебе надо. Взгляни на себя, серый весь.

Эта забота была неожиданна и приятна.

— Да что ты, я здоров, смотри! — Он схватил ее, закружил. — Видишь?

— А может, я с тобой пойду?

— Нет, Натаха, это сложно…

Он шел по улице и думал о том, что сегодня Наташа хорошая, прежняя, хоть какая-то тревога и живет в ней.

Моросил мелкий дождь, совсем осенний. Иван Михайлович удивился: «Разве уже прошла весна? А может, и лето прошло?» — И оттого, что жизнь такая стремительная, бурная ему стало весело.

На плацу был перерыв между занятиями. Солдаты не первый раз видели Малышева и сразу же окружили его, наперебой начали рассказывать:

— Утром здесь кто-то к столбу прибил фанерный щит, а на нем написано: «Долой самодержавие! Долой войну! Да здравствует революция!»

— Неужто? — удивился Малышев.

К солдатам бежал командир. Они оттеснили Ивана Михайловича к лесу, плотной стеной оградили его.

— Уходи, мы его задержим!

Снег дружно обложил город сугробами, облепил окна. Снова удивился Иван тому, что вот и зима подкралась незаметно.

«Изволите исподтишка нападать, сударыня? — шептал он, радуясь морозу, как радовался каждый год и теплу, и звонкой весенней капели. — Втихаря? А нам не страшно!» — Он сдвинул шапку на затылок, расстегнул пальто и бодро вытаскивал из суметов ноги.

«Мы вот завтра организационное совещание проведем… Уже приехали товарищи из районов. Обсудим итоги Циммервальдской и Кинтальской конференций. Изберем временный комитет по подготовке нашей местной конференции… Зима ли, осень ли, у нас все идет своим чередом! Трудно, но зато нам все ясно. Мы свою линию знаем!»

Ничто не напоминало так Фоминку, как зима: заносы, хруст снега под ногами, мороз — дыхание захватывает, ряженые, тройки на масленой. «А что, если и сейчас? Дать всем отдохнуть хоть час… снять напряжение, а? Если бы в лес! Встретить Новый год. Трудно достать лошадей? Да неужели наши орлы лошадей не найдут? Найдут…» — Решение окрепло: под Новый год по лесным дорогам жандармов не будет!

Малышев посмеялся над собой: осталось еще в нем ребячество, еще может вести разговор с зимой, как когда-то вел его с давно умершей Надеждой Половцевой, мечтать.

Встречные оглядывались на него с улыбкой. Вот и Вычугов широко улыбнулся ему.

— Слушай, друг Костя, организуй для нас завтра, под Новый год, пары три лошадей!..

— Для чего, Иван Михайлович? Не масленая ведь…

— Выедем к Деду Морозу. Новый год встретим…

Простое русское лицо Кости вспыхнуло от готовности помочь.

— Будет сделано, Иван Михайлович. Только, чур, я на одну пару — вместо кучера.

— Идет. Лошади чтобы — огонь, кошевки ковровы…

Подмигнув друг другу, «заговорщики» разошлись.

…Как раздобыл лошадей Костя, Малышев так и не узнал. Но лошади были и купеческие, и ямщицкие.

…Бубенчики на лошадях весело звенели. Одна пара за другой мчались по блестящей дороге.

Морозная ночь сияла, зажигалась звездами. Вокруг полного месяца кружилась пелена.

Иван ехал в первой кошеве.

Наташа ехала в последней. Сама правила.

Приникнуть бы сейчас к нему и молчать под серебряный звон бубенчиков, под быстрый скрип полозьев. Ехать и ехать, глядеть на звездное небо, на звездный снег.

Ели нахлобучили белые шапки, опустили отяжелевшие под снегом лапы, стояли завороженные. На фоне снегов видно, как из первой кошевы вывалился человек, прыгнул на лету во вторую, через какое-то время — в третью. Уши от шапки болтались, пальто распахнуто.

«Что они за игру затеяли?» — Наташа подалась вперед, ждала.

Снова из кошевы выскочил человек в распахнутом пальто.

«Да ведь это Ванюша!» — Наташе стало вдруг жарко. Скинув тулуп, она вытянула шею, чтобы не пропустить ни одного движения того, кто прыгал впереди из кошевы в кошеву.

«Это ведь он меня разыскивает», — догадалась Наташа. Радость залила ее. Хотелось закричать: «Я здесь!» или выпрыгнуть из кошевы и бежать навстречу и кричать: «Я с тобой, милый!»

Лес был так хорош, что хотелось ехать в самую его нескончаемую ледяную глубину. Вдвоем.

«Вот сейчас Ванюша запрыгнет в мою кошеву, скажет: «Где ты здесь у меня?» Завернет в свой тулуп, и мы помчимся в блестящую сугробную сосновую ночь!»

Иван вскочил в ее кошеву, как она хотела. Закутал ее в тулуп, как она хотела, и сказал, как хотела она:

— Ну-ка, где ты у меня?

От него несло морозом, свежестью.

И он сказал еще:

— Ты знаешь, мы сейчас обо всем договорились окончательно: конференцию проводим пятнадцатого января семнадцатого года! Семнадцатый! Что-то он нам принесет! Ах, Натаха, очень важная то будет конференция! Наконец создадим

мы областной партийный комитет.

Наташа покорно вздохнула.

Скрипели полозья. Звенели бубенчики. Лес сверкал и манил, манил.

…До конференции всего сутки. Двадцать четыре часа. В сотый раз Малышев с товарищами пересмотрели вопросы повестки. Он чувствовал особый прилив сил и был уверен, что с ними ничего дурного не случится. Им не хотелось расставаться. Возбужденно размахивал руками Лепа и говорил:

— А мы тебя, Иван, домой проводим. Может, еще что не предусмотрели, надо обдумать.

Вот он всегда так, хороший Лепа: всегда нужно ему тысячу раз все пересмотреть, предупредить события. Иван подумал: «А это черта отменная. Мне обязательно надо ее усвоить…»

Катя Кочкина шла рядом с Мокеевым и чему-то тихонько смеялась.

Ливадных обернулся к Ивану:

— Хороша у тебя квартира… Флигелек в глубине двора. Удобно…

— Тс-с…

«Да, легче из моей квартиры уходить».

Наташа встретила их с бледной улыбкой, молча указала вокруг. Квартира была перевернута, вспорот матрац, пучками валялось мочало. Книг на окне не было.

— Шарили? А ты вперед не пускай их… стань у дверей и помелом, — рассмеялся Иван.

Из-за ширмы, отделяющей кухонку, вышли двое полицейских.

— Ах, вот в чем дело! — воскликнул Малышев.

Его спокойствие привело Наташу в себя. Она спешно начала собирать вещи Ивана — смену белья, полотенце, носки — в вещевой мешок. Он ловил ее взгляд, чтобы узнать, спасен ли шрифт. Она поняла, бросилась к квашне, которая закисала на плите, помешала мутовкой, выразительно глядя на мужа. Ему стало весело.

«Успела, спрятала шрифт в тесто… Умница…» Вслух он сказал спокойно:

— Бритву не укладывай. Бритву отберут: как бы Малышев себе глотку не перерезал.

— Не разговаривать! — прикрикнул один из жандармов.

Иван добавил, улыбаясь:

— Положи Евангелие… — и жандармы успокоились.

Наташа тоже чуть заметно улыбнулась: знали бы эти ищейки, какое это Евангелие: вперемежку с главами Евангелия в книгу вплетены страницы из Ленина.

— До свидания, «незаконная».

Товарищи топтались на месте. Мрачковский Сергей все подвигался к выходу. Но около двери стал полицейский, широко расставя ноги.

В длинном зимнем пальто — на карауле воротника и на шапке не растаял еще снег — Иван казался Наташе таким худым и бледным, что она всхлипнула. Он строго посмотрел на нее.

Семерых большевиков вели к тюрьме. Завывал ветер, мел поземкой, сшибал с ног. Мощные вихри завертелись вокруг арестованных.

Малышеву казалось, что и снежная ночь, и свист метели, и жандармы — все это бред, некстати, не вовремя этот арест.

Упала Катя Кочкина. Малышев помог ей подняться. Через протяжный гулкий голос метели едва слышались его слова:

— Потерпи, Катя… скоро уж, скоро. Похоже, нас предали. — И опять всплыли в памяти давно слышанные слова, и он сказал: — Тюрьма — это временное препятствие для революционеров!.. «Дядя Миша! Мудрый дядя Миша! Как многим я обязан тебе».

Лепа хмуро бросил:

— Вот тебе и «хороша квартира, Иван!»

— Да уж!

Поземка рыскала, вертела снега, била по коленям. Ветер запутывал юбки в ногах женщин, пронизывал до костей.

Сквозь метель едва различались огни в окнах домов.

Оторваться сейчас от работы! Тяжелее этого, кажется, ничего не было в мире.

Вот она — тюрьма, каменный двухэтажный корпус.

Здесь арестованных разделили.

Женщин увели в небольшое деревянное здание рядом, обнесенное высокой стеной.

В одиночке горела керосиновая лампа, пахло сыростью и мочалом. Новая рогожа лежала на топчане вместо матраца. Запах мочала опять напомнил Фоминку, детей, белоголовую Симу Кочеву, Дашутку-сироту: «Выросли, наверное, дети. Интересно, какими они стали?»

Скоро запах мочала смешался с обычным тюремным запахом грязи.

Начальник отделения, костлявый человек с плоским затылком, чаще других требовал к себе Малышева: уж очень заметный молодой человек, беспокойный, все время поет. Песни скромные, без вызова: «Ревела буря, дождь шумел…»

Можно было запретить петь. Но пусть уж лучше поет, чем бастует.

Начальник почти каждый день спрашивал, где скрывается Толмачев. Иван ликовал: значит, Толмачев на воле. Не так давно он был в Екатеринбурге. Заметив особый интерес к нему полиции, товарищи потребовали от него уехать, скрыться.

Значит, ему это удалось.

Начальник с любезной улыбкой обещал Ивану Малышеву похлопотать о сокращении срока, если он скажет, откуда в тюрьму проникают политические новости.

Тот слушал его с вежливым вниманием, пожимал плечами:

— Сам не понимаю… — а возвращаясь в камеру, нетерпеливо ждал, когда же принесут передачу.

Связь с волей была хорошая, хотя передачи тщательно просматривали. В чайнике железным прутом проводили по дну, взбалтывали молоко.

Малышев стучал в стенку соседям:

— Начальник отделения свободу сулит за предательство, купить хочет. Свобода сама к нам придет! Сообщите женщинам…

Из одиночки опять несся его легкий голос:

С рассветом глас раздастся мой,
На славу и на смерть зовущий.

XX

Свобода пришла.

Второго марта всю тюрьму всколыхнула весть: пало самодержавие.

С улицы нарастал гул голосов, долетали победные крики, обрывки песен.

Надзиратели открывали камеры политзаключенных. Начальника отделения била икота. Ворот кителя расстегнут, лицо вытянулось.

— По ннеккоторым обст-тояттельствам ввыпускаем вас нна волю…

Иван не мог пропустить случая посмеяться. Лукаво спросил:

— Очевидно, вы нашли кого-то, кто вам сказал, как проникают в тюрьму политические новости?

Начальник отделения побледнел. Говорить он не мог, зубы отбивали дробь, икота усиливалась.

А к тюрьме подступали демонстранты. У каждого на груди красный бант, повязка через плечо, красные ленты пересекали шапки. Арестованных встретили победными голосами. Крики радости, отчаянные аплодисменты, топот ног — все слилось в один сплошной радостный гул. Многие в толпе крестились, обнимали друг друга; некоторые стояли словно в оцепенении.

— Ваня! Сергей!

— Наш Миша! Сергей! Катя!

— Здравствуй, Иван Михайлович!

Их окружили друзья. Тесным кружком повели впереди колонны на митинг в Народный театр.

По улицам суетливо бежали люди, доносились приглушенные голоса.

Театр был переполнен. Заняты были все проходы. Казалось, балконы сейчас рухнут, провалятся.

Главный бухгалтер фирмы Агафуровых Евдокимов кричал со сцены:

— Господа! Нельзя сомневаться в искренности Временного правительства! Оно революционно. Войну надо поддерживать до победного конца! Будем ждать, когда правительство разрешит все вопросы революции… Нельзя преждевременно требовать введения восьмичасового рабочего дня и повышения зарплаты!

Его слова перекрыл оглушительный свист.

Рабочие на руках снесли на сцену Малышева.

— Иван Михайлович, говори!

— Рассказывай, Иван!

Волна тепла охватила сердце, стеснила грудь.

— Вы слышите, на чью мельницу льет воду Евдокимов? Только большевики несут правду народу.

Кобяков что-то кричал, то и дело вскакивая с места, но его усаживали.

Слова его тонули в общем шуме:

— Предатели! Изменники!

— Война им нужна! Пусть сами и воюют! — раздавались в ответ голоса.

Иван говорил:

— Интересно получилось: большевики руководили борьбой с самодержавием, умирали в боях, переполняли тюрьмы и ссылки, а меньшевики и эсеры захватили депутатские места. Они хотят выгрести жар чужими руками! Кричат, что восьмичасовой рабочий день вводить преждевременно, им же надо обеспечить войну! Умирайте, рабочие и крестьяне, лейте кровь, трудитесь на войну здесь по семнадцать часов. Это оборонческо-соглашательская тактика. Мы будем бороться за демократический мир против империалистической войны.

Наташа то и дело вытирала глаза и неотрывно глядела на мужа.

Что-то опять пытался возразить Ивану Кобяков, но от него просто отмахнулись:

— Эй ты, «основа прогресса», заткнись!

Выскочил на сцену Степан Вессонов и крикнул:

— А я вот думаю, товарищи, они, эти… — Вессонов кивнул в сторону Евдокимова и Кобякова, — они ведь будут людям мозги засорять. Их ведь не проконтролируешь. Нам надо создать временное бюро, наше, большевистское, чтобы оно направления давало, кому говорить на собраниях и митингах.

— Правильно-о-о!

— Верно, Вессонов!

Тот, радуясь, что догадался о создании бюро, продолжал, рисуя картину позора меньшевиков и эсеров.

— Как придут к рабочему люду, так их и спросят: «А направление от большевиков у вас есть? Ах, нету?.. Ну и… вали, ребята!» Уйдут все до одного. Пусть друг перед другом губами-то шлепают! — Вессонов дважды хлопнул впустую губами под оглушительный хохот собрания.

Временный комитет был создан на другой день на открытом партийном собрании, и председателем его был избран Иван Малышев.

Через неделю, шестого марта, Парамонов, Малышев и Мрачковский с группой вооруженных солдат направились в

канцелярию жандармского ротмистра.

Из трубы на улицу вылетали вместе с дымом хлопья сожженных бумаг. Начальник отделения в своем кабинете сжигал в пылавшей голландской печи секретные архивы; бумага, как живая, корчилась в пламени.

В соседней комнате солдаты из тюремной охраны чистили и смазывали винтовки.

Анатолий Парамонов первый вбежал туда с маузером в руке:

— Что вы делаете?

Охранники вразнобой ответили:

— Ружья чистим!

— Давно вас ждали! Хотим оружие сдать в полном порядке.

Парамонов разоружил охрану.

Красная лента через плечо опушенного полушубка, решительный вид этого красивого парня — все привело начальника в смятение.

— Списки провокаторов сжигаешь? — спросил Парамонов.

Начальник протянул ему несколько листов бумаги. Бумага в его руках мелко дрожала.

— Сядь, не мельтеши! — приказал Парамонов, указав маузером на стул, и уткнулся в листы глазами.

Большое тело начальника отделения обмякло на стуле, толстая шея ушла глубоко в плечи. Неожиданно Парамонов рассмеялся:

— Тут вам было еще одно предписание: арестовать Вайнера, арестовать Давыдова и Парамонова. Вы почему не исполнили этого приказа? — спросил он.

— Нне хоттел оголять ппартию…

Малышев и Парамонов дружно рассмеялись.

— Скажите, какая деликатность!

— Может, не успели?

— Мможет…

— Или через слежку хотели узнать, с кем мы связаны? Так?

— Ттак…

Парамонов снова рассмеялся:

— Да не дрожи ты!

— Тогда не машите этим… он может и выстрелить.

— М-может, — не без лукавства протянул Парамонов. Жандармов отправили в тюрьму. Архивы опечатали.

Возвращались домой, весело переговариваясь:

— Он партию нашу не хотел оголять!

— Ты, Толя, здорово его маузером-то пристращал!

— Да я и не махал им. Начальнику просто со страху показалось.

У хлебной лавки толпился народ. Мобилизации выхватывали с заводов людей. Угля и руды недоставало. Домны стояли. Выплавка чугуна сократилась. Запустение и упадок. Посевы крестьяне уменьшили. А хлеб нужен каждый день. Каждый день. Один Нижний Тагил требовал ежемесячно муки полтораста вагонов, а получал только шестьдесят. Цены на муку увеличились в пять раз.

Веселость комитетчиков упала.

В толпе похаживал городовой.

— Господа, спокойнее, а то отпускать не будем! Ни муки, ни сахара! Пейте чай тогда с сахарином или, как пролетарии говорят, «с удовольствием»!

Парамонов, оглядываясь на городового, сказал:

— Завтра же надо заменить этих архангелов своей милицией из добровольцев!

На ходу в переговорах намечались большие планы.

— Политическую власть за собой надо укрепить. Не стройте иллюзий: буржуазия без боя не сдаст своих позиций. Нам придется пролить немало крови, прежде чем мы укрепим за собой политическую власть!

Партийная организация крепла, люди росли, внутренне обогащались, быстрее находили нужные доводы в теоретических дискуссиях с эсерами и меньшевиками, легко «выбивали их из седла», как говорил Лепа.

Николай Крестинский, Лев Сосновский, Павел Быков только что вернулись с Всероссийского совещания большевиков и теперь вели большую агитационную работу. На первой Уральской конференции избрали областной комитет. Особенно обострилась борьба за Советы после Уральского съезда Советов, где меньшевики и эсеры призывали к поддержке Временного правительства.

Апрель солнечный, сияющий. Дороги размокли.

— Скоро мы с тобой, Натаха, ни одного хорошего вечера не пропустим. Гулять будем, в театры ходить, в кино, — помечтал как-то Малышев.

— До женитьбы с тобой хоть гулять ходили. Женился — переменился…

— Трудно выбрать время… Сейчас горячая пора…

Наташа влюбленно глядела на мужа: не жалуется он, нет. Счастлив, горд, собран и переполнен радостью.

Иван пригрозил:

— И будет еще горячее. Знаешь, Наташа, кто приезжает? Свердлов! «Андрей». Он поведет областную конференцию. Мы уже

инструкторов послали в города для выборов делегатов. Первая свободная конференция уральских большевиков!

…Иван был полон радости от встреч со Свердловым.

Голос Свердлова густой, сильный. В Екатеринбурге его знали все. Еще в революцию пятого года он создавал и укреплял большевистскую организацию. Знали и любили.

Приезд Свердлова был очень кстати: на многих заводах не восстановлены еще разгромленные при царе большевистские организации. Есть организации, объединенные с меньшевиками, наблюдаются колебания.

Около здания, где проходила конференция, сгрудился народ. Взволнованный, Иван вошел в зал.

Вот они, делегаты. Испытанные, закаленные люди. Они поведут теперь самые тяжелые и ответственные дела! Но даже среди них попадаются маловеры.

Огорчительно, что Мрачковский не хотел размежевания с меньшевиками. «А нам нужно, нужно с ними размежеваться!»

Малышев задыхался: тяжело, когда изменяют свои. Нет горшей обиды.

Мрачковский кончил говорить, сел рядом и посмотрел на Ивана. Тот не выдержал и бросил ему в лицо:

— Закачался, Сергей?! Не выйдет!

— Может, я и не прав, — растерянно отозвался тот.

Молча посмотрели друг на друга, чувствуя, что они на волосок от полного разрыва.

Выскочил на трибуну тагильский меньшевик, закричал: «Нам надо поддерживать Временное правительство постольку, поскольку оно выступало против старого режима!»

— Никаких «постольку-поскольку!» — категорически произнес в ответ Свердлов. — Разве Временное правительство разрешит задачи, которые стоят перед русской революцией? Не можем мы верить Временному правительству! Революция пойдет вперед, и задача наша — отдать власть пролетариату и крестьянству! Мы пока не зовем к свержению правительства, но поддерживать его не можем.

В один из перерывов Малышев повел Свердлова в общежитие делегатов. Якова Михайловича все интересовало: как делегаты жили во время реакции? кто был в тюрьме, в ссылке? как сейчас работается?

Конференция, встречи с Андреем придавали Ивану сил.

— Мы — уральцы… Мы теперь крепче, сплоченнее… Нас больше! Недавно нас было сорок. А теперь в партии шестнадцать тысяч человек! И каждый — боец!

Рабочие тоже выросли, легче разбирались в сложных вопросах и все настороженнее относились к призывам эсеров и меньшевиков.

Власть в Совете рабочих депутатов сосредоточилась в руках большевиков.

Оживленно и неспокойно в доме Поклевского, в комнатах Совета и комитета.

— Теперь первая задача у нас — организовать Советы в Сысерти, в Полевском, в Уфалее…

— И обеспечить большевистское руководство!

— Всюду создать рабочую милицию.

Эсеры и меньшевики тоже не дремали. Где могли, захватывали Советы.

— В Перми — двоевластие!

Большевистских депутатов отсылали на фронт — шла борьба за них.

Буржуазия в Екатеринбурге пыталась разогнать Совет, клеветала на него. В мае на заседание Совета эсеры привели несколько воинских частей и потребовали его роспуска. Пять часов шли споры. Большевики вынуждены были отступить перед силой.

Чем напряженнее жилось, тем спокойнее и сосредоточеннее становился Иван Михайлович. От него веяло силой и убежденностью.

— Борьба не закончена… Жестокая она будет… но ведь все равно мы свой социалистический строй водворим на земле, — говорил он.

За эту спокойную уверенность и любили его товарищи.

Депутаты-большевики разошлись по фабрикам и заводам. Борьба с двоевластием не прекращалась. Необходимость завоевать массы определила новую задачу — создавать профсоюзы. Голощекин, Вайнер и Малышев взяли на себя эту работу.

Но и это не прошло без борьбы, без ежедневных столкновений с эсерами, которые призывали к нейтральности профсоюзов, против рабочего контроля на заводах.

Разъездные инструктора создавали всюду большевистские организации и Советы.

Совет демократизовал милицию, отбил право на аресты по политическим вопросам, создал следственную комиссию, чтобы пресекать контрреволюционную работу, ввел восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль. Вот этому буржуазия особенно сопротивлялась, а эсеры и «меки», как в народе звали

меньшевиков, помогали ей.

При Екатеринбургском Совете создали Конфликтную комиссию. Ею руководил Вайнер.

— Веди, Леонид, — сказал ему Павел Быков, энергичный, сурового вида гигант. — Вот увидишь, к тебе с конфликтами рабочие из других городов пойдут…

Это пророчество председателя исполкома скоро оправдалось. Он вообще удивлял всех даром провидения. Когда назначали большевика Войкова руководить продовольственным комитетом, Быков сказал:

— Веселая тебе, друг, работка досталась, с кулаками в деревнях повоюешь… — и эти слова также оказались пророческими: кулаки припрятали хлеб, и рабочим районам он почти перестал поступать. Войков организовал обмен изделий заводов в деревнях на продукты питания, чем избавил народ от голода.

Малышев все замечал, каждой черте в характере своих товарищей радостно удивлялся. Он и сам пытался предрекать события, как Быков. Сыромолотову, комиссару отдела финансов исполкома, Иван сказал:

— Собирать тебе, Федич, по рублику, по копеечке всю твою жизнь!

Черная кожаная куртка на Федиче всегда расстегнута, с широкого лица не сходила улыбка. Остряк, поэт, он тут же нашелся:

— Ничего. Каждую копейку теперь рублевым гвоздем прибьем!

Когда Голощекин возглавил комиссию по реорганизации народной милиции, Малышев снова «предрек»:

— Ох не легко тебе окажется, Филипп! Хулиганство сейчас расти будет: так слабосильные новую власть проверяют…

Голощекин — высокий плотный красавец — подхватил шутку:

— У нас и на многосильных сила найдется.

Они внимательно и любовно посмотрели друг на друга.

Им всегда было интересно вместе, всегда было о чем думать, обсуждать общие дела. Часто, не договорив, они сопровождали кого-нибудь домой, в спорах и мечтаниях не замечая дороги. И на этот раз с Иваном к его дому шли товарищи.

— Сейчас мы обмозгуем, куда еще послать своих комиссаров… — Малышев счастливо рассмеялся: — Натаха меня ждет, наверное, вот как!

Наташа ждала. На столе кипел самовар, в комнате все блестело.

Молча обнялись Малышевы и долго стояли без слов, окруженные друзьями.

Скинув пальто, Иван сел на кровать. Такого никогда не было, чтобы он одетый сел на кровать. Улыбаясь, посмотрел на жену, на друзей, склонил голову к подушке и мгновенно уснул.

…Очнулся он, когда в комнате уже никого не было. Одна Наташа дремала на стуле. Но сразу же подняла голову, как только муж шелохнулся.

— Все уже ушли? — тихо спросил он.

Наташа улыбнулась.

— Милый, уже шесть часов утра…

Ивана словно окатили кипятком:

— Как? Я уснул?

Наташа кивнула.

— Я развалился на кровати, а ты просидела всю ночь, боялась меня потревожить? Я обещал тебе быть вместе в этот вечер?

— Да.

— И я уснул!

— Мы были вместе, Ваня.

— Я — негодяй… Я даже не смею просить у тебя прощения. А сейчас мне опять нужно бежать. Сегодня городская конференция большевиков.

— Ты хоть ешь где-нибудь? — поинтересовалась Наташа.

— А как же! В харчовках, на Покровском[7] около комитета, где попало.

— Это около моста, в подвале? Напротив дома Поклевского?

— Да.

— Проверю я, как там тебя кормят.

Наташа разогрела чай. Иван ходил за ней от стола к кухне, виноватый, пришибленный.

Наконец она не выдержала, рассмеялась:

— Вот что, Иван: ты никогда ни на минуту не смей думать, что мы не вместе. Где бы ты ни был — мы вместе. Ты понял, соловьиная твоя душа? Мы вместе. Вот сейчас поведешь городскую конференцию. Будешь создавать городской Совет. Но мы вместе. Хотя… И запомни, я в эти дни так много думала, так изучила тебя, весь твой путь прошла; я горда и счастлива, хоть и… Ты понял.

— Да, «незаконная». А что это за такие уклонки: «хоть и»? В чем дело?

— После. Обо всем после…

— Ну, хорошо. Но ты тоже учти, что ты будешь первой законной советской женой! Поняла?

Наташа, всхлипывая от смеха, с непонятной горячностью

сказала:

— Оба поняли. А теперь ешь и беги. Не опоздай. А то меньшевики отовсюду вас вытеснят. Нельзя опаздывать.

Хорошая Наташа сегодня, совсем прежняя. Замкнутость ее проходит. Но что-то мучает ее. Что? И взгляд ее бывает часто недоверчивый. Что произошло? Скажет ли? Должна сказать.

XXI

Как-то, вернувшись вечером домой, Иван Михайлович нашел квартиру пустой.

«Славно! Муж на заседаниях — жена дома. И наоборот. Раз уж моя «незаконная» теперь работает в комиссии труда, значит, свиданий будет еще меньше… Посижу. Подожду».

Тетрадь в клеенчатом пестром переплете лежала на столе. Он впервые увидел ее. Открыл «Дневник» — написано полудетским почерком Наташи. Он улыбнулся: жена вела дневник. Торопливо захлопнул тетрадь, словно коснулся чужой тайны. Однако интересно. Снова Малышев открыл тетрадь. На первой странице было обращение к нему:

> «Мы мало видимся с тобой, Ванюша… Этот дневник я начала, как бы разговаривая с тобой. Прочитай и скажи мне все. Твоя незаконная».

Первая запись относилась к его возвращению из армии, к его болезни.

> «…Сегодня ты бредил. Все время звал дядю Мишу и какую-то Наденьку. С Наденькой ты говорил нежно, влюбленно, называя ее своей мечтой. Я узнала, что у нее черные глаза и черные волосы. И если ты читаешь сейчас эти строчки — скажи мне, откуда надо мной такая беда? Знаю, я не доросла до тебя, поэтому ни в чем не обвиняю. Я только не хочу лжи. И не хочу, чтобы ты унижался до лжи. Уйти, оставить тебя больного? Если бы я знала, где живет эта Наденька, я вызвала бы ее. Но я не знаю, будет ли она ухаживать за тобой?
>
> Для меня ты единственная в жизни цель, неожиданный мне подарок. Могу ли я осуждать тебя, моего учителя!»

Иван похолодел: «Какая чушь! И кто такая Наденька?»

Лихорадочно листая тетрадь, он читал разрозненно, вырывая глазами записи в разных местах.

> «4 марта. На первом собрании Совета было более ста человек. Я сидела рядом с Марусей Куренных. Она моих лет. Веселая, уверенная, смеялась и говорила: «Земля станет хорошим местом для жизни».

6 марта. Партий всяких очень много расплодилось. Мы провели на Верх-Исетском митинг. Эсеры и меньшевики хотели сорвать его, пустили на нас вагонетку и кричали: «Казаки приехали!»

Все заволновались, но на подмостках появился Ваня и всех успокоил.

…Февраль разбудил молодежь. Верх-исетские ребята помогают другим разобраться во всем. Сами проводят митинги, рассказывают, каков характер революции, призывают на борьбу с империалистической войной и за то, чтобы в Советах было единовластие. Уже совсем хорошо говорит Абрам Мовшензон. Он все время ходит за Вайнером, за Мрачковским. На всех митингах их слушает…

Так интересно жить. Ваня говорит, что молодежи нужно сейчас потребовать охраны детского труда, шесть часов рабочий день подросткам, с восемнадцати лет избирательное право и всеобщее и бесплатное обучение.

«На покой» отпустили из храма епископа Серафима! Как-то это переживают мои мама и папа!

Я учусь, учусь. Теперь я учусь уже не только для того, чтобы быть достойной Ванюши. Я учусь борьбе. «Любовь окрыляет только слабых, — так он сказал когда-то. — Тех, кого подталкивать к делам надо искусственным возбуждением».

2 апреля. Сегодня в «Уральской жизни» статья Ванюши. «От вас будет зависеть судьба союза. Вы должны… решить вопрос, нужны ли нам профсоюзы и для чего они нам нужны?.. Не раскалывайте свои силы, не вносите раздора в рабочую среду! Помните, что сила рабочего класса в товарищеском единении!»

Как чудесно, что суровые испытания не ослабили его волю, а вроде — наоборот.

Мне надо перенять у него его спокойную силу, его умение действовать без нервной суеты. Но Наденька мне не дает покою! Когда я остаюсь одна, стены наваливаются на меня. Кто она? Все мое повседневное, все мысли и переживания до этого потеряли силу, смысл и цену. Все заполнилось одним желанием — узнать, кто она.

Когда-то он мне сказал: «Каждый порядочный человек чувствует себя ответственным за другого». Он, наверное, сейчас мучается из-за меня, не знает, как быть.

Мое чувство к тебе, Соловей мой, не изменилось от

твоей измены. Ты не сделаешь подлости. Но может быть, это большая любовь. И я должна уйти. Но только прежде должна все узнать.

Вот тут он сидел и смотрел на меня. Я припадаю к стулу. Плачу: посмотришь ли ты еще на меня так? Вот в эту дверь он вошел, улыбнулся, как всегда широко…

Лучше молчать, не растравляться, думать о другом.

3 апреля. Сегодня у нас было организационное собрание молодых. Ваня, Леонид, Федич и другие быстро развивают их политически, знакомят с программой партии, устраивают лекции, беседы, чтения. Абрам Мовшензон такой вожак у молодых, что Ваня не нахвалится. Везде этот парень успеет. С улыбкой, весело. Ваня дал ему специальный план занятий по политэкономии, по текущему моменту.

Я давно поняла, что Ваня старше времени, в котором живет, старше той жизни, что идет вокруг.

А молодые — настоящие помощники: распространяют литературу, газеты, расклеивают воззвания, дежурят в партийной библиотеке. Только вчера с митинга у дома Поклевского вернулись избитые, схватились врукопашную с меньшевиками. Они призывали к борьбе за мир. А тут выскочил один меньшевичок и начал их поносить. Силенок-то не хватило, слов мало еще у наших, они и пустили в ход кулаки. Такая пошла потасовка! Брань… Кто-то крикнул:

— Иди за Иваном Михайловичем!

И когда вышел Ваня, меньшевичок убежал. Ваня пенял ребятам:

— Этак им свою правду не внушить. Надо учиться говорить. Самый страшный для них бой — словесный. Их от наших речей в пот бросает. Не выступайте по вопросам, которые нетвердо усвоили, а если противник не под силу, то вообще не следует выступать. А ваш «метод» борьбы — кулаки и брань — для большевиков неприемлем.

5 апреля. В городе появились буржуазные молодежные организации «Бубенчики», «Колокольчики», кружки «Разумных развлечений». Они стараются сбить с толку молодежь, оторвать от большевиков.

На днях там вели спор «Душа гимназистки». Бедные! Куда кинулись!

У Ванюши огромная ненависть к мерзостям российской жизни… И у меня теперь тоже. И это

неверно, что ты, Ванюша, — единственная моя цель. Нет. Теперь — нет. Теперь я в борьбе. И борьба — моя цель! Я не хочу безмятежной жизни: ни за что не бороться, ни за что не отвечать! И это ты мне открыл глаза!

А думы, как сычи, стонут: Наденька! Есть еще Наденька! Моя вера в счастье, в силы, в будущее уходит…»

Ошеломленный, напуганный и чем-то очень обрадованный, Иван захватил голову руками:

— Проморгал жену! Так и бывает: к близким мы невнимательны!

Таким растерянным и счастливым и застала его Наташа.

— Натаха-птаха, что это? — Иван показал тетрадь.

В ее глазах страх и надежда.

— Я хотела все это сказать тебе, но не умею… Мне бы научиться так говорить, как ты… Но, как подумаю сказать… язык отнимается!

— Садись рядом… Садись сейчас же… Я тебе все расскажу… И про Наденьку, и про мечту, — с шутливой угрозой произнес Малышев, притягивая к себе жену. — А теперь слушай. Я все время не понимал, что за радость растет во мне? А сейчас понял: это ты, Натаха. Ты у меня прямо-таки министр. Только насчет Наденьки тебя обмануло твое прозрение. Так вот слушай…

Было совсем темно, когда Иван кончил рассказ. Огня не зажигали, сидели молча, обнявшись.

— Давай, Натаха-птаха, изгоним ревность из нашей жизни. Недостойное большевиков чувство!

— «Не вносите раздора в рабочую среду. Силы рабочего класса в товарищеском единении», — не поднимая головы, шутливо напомнила Наташа его слова из последней статьи. Но закончила она серьезно: — Спасибо тебе, Ванюша. За урок.

…Всю весну и лето семнадцатого года агитаторы-большевики разъезжали по районам. Возвращались охрипшие и довольные.

— Закипела борьба… Особенно с горнопромышленниками! — рассказывали они.

— На Михайловском заводе рабочие управителя от должности отстранили за жестокость. Такой зверюга был! Мастера за взятки выгнали.

— В Надеждинске волнение…

— В Богословском…

— В Сосьве…

— Комиссары Временного правительства как ни стараются, а

конфликты с рабочими предупредить не могут!

— Верхне-Туринский Совет старые расценки пересмотрел. Заставил администрацию завода платить рабочим по новым. Проглотили. Совет же вышвырнул из заводских квартир всех взяточников и тех, кто особенно лютовал. А квартиры отдал рабочим…

— Хозяйчики-то что делают! Революционное настроение срывают тем, что сокращают производство, никакого ремонта не делают…

— В Кизеле нарочно добычу угля снижают!

— «Меки» и эсеры везде нам вредят!

В горком пришел высокий бледнолицый человек. Пенсне в тонкой оправе как бы вросло в переносицу. За стеклами ласковые светлые глаза.

Малышев вскочил радостно:

— Толмачишка мой приехал!

Николай Гурьевич Толмачев — местный, родился и вырос здесь, отличный пропагандист, знал город, знал обстановку. Учился в Питере, в политехническом институте; сюда приехал по поручению ЦК.

— Очень здорово!

Они обнялись, засыпали друг друга вопросами.

— Ну как? Рассказывай, как здесь?

— Коллегией пропагандистов руководит Леонид Вайнер, его люди успевают всюду: на Верх-Исетский, в железнодорожные мастерские, на Макаровскую, на «Ятес». По три-четыре собрания в день! Охрипли все. Ты будешь помогать Вайнеру. Там крепкое ядро: Крестинский, Тунтул, Завьялова, Быков, Парамонов.

— А забастовки?

— Повара города забастовали да портные. Требуют восьмичасовой рабочий день, учениц оплачивать, сверхурочные работы прекратить.

Толмачев, тихо улыбаясь, утвердительно кивал головой.

— Звучит вроде просто: прошла забастовка. А что для нас это значит?

Не в силах скрыть радости, Иван снова обнял товарища.

— У нас намечен митинг на Верх-Исетском. Пойдем?

— Конечно! Еще раз выступим против империалистической войны…

Митинг был многолюден.

Когда Кобяков требовал продолжать войну до «победного конца», Вессонов оттолкнул его плечом.

— Хватит, натрепался! Братцы, вот я о чем: воевать, набивать им карманы дураков больше нет. Временное правительство на

посулы для нас только богато! Где декрет о восьмичасовом рабочем дне? Нечего с нами в дурачка играть! Предлагаю всем с завтрашнего дня перейти на восьмичасовую работу!

Толпа заколыхалась, зашумела:

— Верно! Хватит, поизмывались!

— Долой комиссаров Временного правительства!

Толмачев взглянул на Малышева, усмехнулся: такой гордостью и удовлетворением дышало лицо товарища.

Довольные, расходились с площади люди.

Резкий одинокий выстрел за углом конторы остановил всех.

Малышев с Толмачевым кинулись туда.

В луже крови лежал на земле Вессонов, откинув в сторону изуродованную руку. Быстро тускневшие глаза смотрели в небо, словно спрашивали недоуменно: «Кому понадобилась моя жизнь?»

Да, кому понадобилась?

Ему стреляли в затылок, сзади.

Побледневший Кобяков сказал в тишине:

— Анархисты шалят…

Малышев подозрительно посмотрел на него.

Знойный яркий май. Частые лучистые дожди не омрачали землю. Подобрело небо. Подобрела зеленая земля. Только народ жил неспокойно под неожиданными и мрачными тяготами.

Кобяков после смерти Вессонова стал избегать Малышева.

Иван иногда видел в открытую дверь, как воровато он скользит в дверь комитета своей новой партии — партии эсеров. На митинги появлялся Кобяков, окруженный какими-то гимназистами, наслаждаясь их льстивым вниманием.

Молодые рабочие ребята бросали ему вслед:

— «Основа прогресса» идет!

Эти когда-то сказанные им слова прилипли к нему, как прозвище.

Гимназисты, преданно глядя на Кобякова, кричали подражая ему:

— Мы требуем новых выборов в Совет!

С преувеличенной радостью Кобяков мял руку Малышеву при встрече, спрашивая с ехидцей:

— Ну, как живешь?

— По привычке, — усмехался тот.

Беспокойные колючие глаза Кобякова, казалось, говорили: «Недолго ты еще попрыгаешь!» Малышеву все время хотелось спросить:

— За что ты убил Вессонова?

Он был уверен, что это сделал Кобяков. Не случайно тогда

прятал глаза. Убил за то, что Вессонов, этот увечный рабочий, прозрел, стал борцом, убеждая своей жизнью, своим измученным телом. Он мешал и пугал. Его надо было убрать. Всем эта смерть казалась случайной. Похоронили рабочего и забыли о нем. Но Малышев не забыл и все выискивал, за что убили. И понял: за силу. За ту силу, которую когда-то в пермской тюрьме нашел в мальчишке Малышеве дядя Миша.

В середине июня по приказу Временного правительства началось наступление на фронте. В Питере расстреляли мирную демонстрацию.

Заволновались, зашумели рабочие Екатеринбурга.

— Протестуем и клеймим позором кровавую расправу над революционными рабочими и солдатами Петрограда!

— Надругались над знаменами, освященными кровью борцов!

— Требуем удаления буржуазных министров! Требуем перехода власти в руки народа!

Рабочие собирали деньги в пользу большевистской партии: она одна выражала их желания.

Все понимали, что война завела страну на край гибели.

XXII

Пыль носилась по екатеринбургским улицам, когда делегаты-уральцы уезжали на шестой съезд партии большевиков.

Пыль, зной и тревога носились по улицам Питера.

Делегатов встретили рабочие и тут же разделили: Голощекина и пермяков-мужчин увели в одну сторону, Клавдию Завьялову — в другую. Малышев, потрясенный величием города, казалось, этого и не заметил. Он впервые видел трамвай, удивлялся быстроте его движения. Он смотрел в окно, не на дома и не на город, а на конку и на извозчиков, радуясь тому, что трамвай стремительно обгоняет их.

— Как революцию закончим, заведем трамваи в каждом городе! — сказал он своему проводнику.

— Тс-с! — рабочий приложил палец к рыжим прокуренным усам.

Иван пристыженно смолк: забыл, что делегаты приехали в столицу тайно, что съезд собирается нелегально. «Тоже мне, конспиратор!»

Провожатый был высок, его серые глубокосидящие глаза, казалось, все понимали. Что он рабочий, видно было по рукам, по сутуловатости.

Вот он поднялся, чуть-чуть кивнул. Они направились к выходу. На улице молчали. Иван шел сзади, глядя на спину провожатого. Верх коричневого пиджака на плечах отцвел. Воротник потрепался, но был аккуратно заштопан.

Уже не было слышно грохота и звонков трамвая. Дома простые, маленькие, как на Верх-Исетском заводе, только дворы не крыты, а обнесены легкой изгородью, да огородов за ними нет.

Рабочий ввел гостя в прохладную опрятную квартиру. Из-за печи вышла полная приветливая женщина. Темное платье было прикрыто полосатым фартуком. Сказала напевно:

— Пожалуйста, проходите вперед.

Провожатый пригладил волосы с рыжеватым отливом и произнес басом:

— Вот теперь познакомимся. Звать меня Петром Игнатьевичем. Рабочий я на Семениковском заводе. Токарь. Тоже делегат съезда. Жить ты будешь у меня. Питаться — тоже. Ходить на съезд будешь так, как сегодня шел: молчком и отступя от меня подальше, чтобы не приметно…

— Но как же у вас питаться? У вас тоже, небось, карточки.

— Об этом не сомневайся. Прокормим. Иначе нельзя. Партия наша пока не разжилась. Так уж договорились. Спать будешь

тут, — Петр Игнатьевич указал на угол, завешенный ситцевой пестрой занавеской. — Там и переоденься. Кто придет, будем говорить, что ты моей Татьяны Афанасьевны родня.

На столе весело посвистывал самовар. Петр Игнатьевич сказал хмуро:

— Ильича на съезде не будет.

Малышев задохнулся от огорчения:

— Как же так… Ведь мы его избирали делегатом…

— Его многие избрали. Не будет. Да ты ешь… Ильич здоров, не беспокойся. Кричат правители-то временные, что он шпион немецкий, судом грозят. Вот и приказали ему наши товарищи скрываться.

— Владимиру Ильичу позор не пристанет.

Малышев вскочил, взглянул на часы, шагнул к двери.

Петр Игнатьевич, понимая его нетерпение, успокоил:

— Не волнуйся, сегодня заседание начнется вечером, когда съедутся все.

Наконец поднялся:

— Пора.

Шли тихими улицами. Около одного здания Петр Игнатьевич приостановился:

— Наш Совет. Недавно Керенским приказ отдал, чтобы разоружить рабочих. А наш районный Совет призвал всех прятать оружие, — и снова смолк, продолжая путь.

После долгих кружений рабочий остановился около двухэтажного длинного здания с частыми окнами вверху и редкими внизу. Посередине — нарядный широкий подъезд с двумя ступеньками. Через два окна в обе стороны две узенькие двери, на одну из которых и указал питерец.

У дома поодиночке и группами расхаживали люди.

«Патруль», — догадался Малышев.

Пока поднимались по лесенке вверх, Петр Игнатьевич говорил, теперь не таясь:

— Рядом с этим домом — Гренадерский мост. Около него Девятого января положили народу много!

— Здесь?

— Везде положили, не только здесь. Но и здесь. В каждом районе есть улицы, кровью политые. Помним мы это. Очень даже помним!

Делегаты Екатеринбурга встретились друг с другом шумно, как после долгой разлуки. И сразу же к ним подошел Свердлов, загудел:

— Ну, как устроились?

— Яков Михайлович, неудобно только, что сели мы на шею

рабочих. Ведь и у них карточки, — начал Малышев.

— Это пусть вас не беспокоит. Питерские большевики сами предложили этот выход.

— А город нам удастся посмотреть?

— Нежелательно. За делегатами могут охотиться временщики… А нам терять сейчас людей нельзя.

Стремительный, собранный весь, Яков Михайлович ушел. Голос его слышался теперь уже из боковой комнаты.

Небольшой зал быстро заполнялся.

Рядом с Иваном сидел пермяк Александр Борчанинов. Иван еле признавал в этом человеке с усталыми глазами того живого и влекущего оратора, которого мальчишкой бегал слушать на митинги в Перми.

Вышел на сцену полноватый седой человек, встал за столом, выжидательно глядя в зал.

— Ольминский?.. Ольминский… — зашептали сзади.

— Из Москвы…

Ольминский открыл съезд.

Уже на другой день Малышев понял, что небольшая группа делегатов съезда как бы нарочно спорит по каждому вопросу, вызывает смятение. Ну как могут эти люди всерьез требовать, чтобы Ленин отдал себя в руки власти? Разве можно доверять Временному правительству?! Отдать им Ленина! Вишь, чего хотят: обезглавить партию! Это же травля вождя!

— А это кто? Преображенский? Из Златоуста?

— Наш, уралец, а что мелет?

— Чего захотел: сказать в резолюции о политическом положении, что Россию можно направить по социалистическому пути только при наличии пролетарской революции на Западе! Вот варнак!

Это простое уральское слово «варнак», сказанное Борчаниновым, развеселило Малышева.

…Среди делегатов волнение. Еще бы! Услышать от Бухарина, что крестьянство настроено оборончески, находится в блоке с буржуазией и не пойдет за рабочим классом! Да ведь это против Ленина! Неверие в силу пролетариата, в его способность вести крестьянство по социалистическому пути!

Бухарин с бородкой клинышком. Острые глаза бегали по лицам делегатов неспокойно.

Малышев все замечал, все впитывал в себя. Он волновался за каждого оратора: «Что-то скажет! Куда-то этого понесет?» Волновался за Свердлова, когда тот иногда исчезал из президиума, радовался при мысли: «Наверное, к Ленину… Ведь именно Яков Михайлович связывает нас с Лениным в эти дни».

Свердлов объявил:

— Здание обратило на себя внимание охранки. Вокруг появились подозрительные люди: слежка. Завтра собираемся в школе у Нарвских ворот. Новосивковская, 23.

В перерыве Борчанинов предложил:

— Знаешь что: заседания начинаются около одиннадцати. Кончаются в восемь. Махнем-ка с тобой… хоть на Петропавловскую взглянем? Питер я знаю… Мы с тобой в Петропавловке не сидели еще, надо поприсмотреться! — оба рассмеялись.

Иван Михайлович быстро нашел хозяина своей квартиры.

— Вы не волнуйтесь, я приду позднее.

— А если попадешься?

— Хоть иглы под ноготь — ничего не выдам!

Вспомнилась Наташа: так она сказала когда-то. Казалось, это было так давно! И какие события разделяют то время с сегодняшним! «Ждет не дождется, незаконная!» Бегом спустился вниз к пермяку.

На улице было светло. Взявшись об руку, Малышев и Борчанинов быстро шли к трамваю: надо успеть.

Иван Михайлович произнес:

— Все ясно. Значит, такие главные задачи ставит перед нами партия сегодня: вытеснить меньшевиков и эсеров из всех революционных организаций и готовить вооруженные силы для победы пролетарской революции.

— Знаешь, екатеринбургский большевик, если ты намерен митинговать, я от тебя убегу.

Ехали. Шли пешком. Показался остров, комендантская пристань и высокий шпиль Петропавловского собора. Борчанинов сказал:

— Помолчим?

Долго смотрели они на роковой остров, на пристань, на гранитную высокую ограду, на блестевший золотом шпиль.

— Для чего же ключ на шпиле?

— А чтобы все знали, что запоры крепки. Тюрьму эту еще при Петре поставили. Там и «секретный дом» есть. Попадешь в него, выйти не думай. Декабристы там сидели. Софья Перовская, Александр Ульянов… Отсюда только на смерть увозят!

Идя обратно, снова молчали.

Прощаясь, Малышев произнес в раздумье:

— И все-таки мы с тобой больше в тюрьме сидеть не будем. Кончилось. Все равно власть наша будет, пролетарская.

…Школа, вот она, квадратное, одноэтажное помещение. Кровля ограждена низеньким парапетом. По семь окон с трех

сторон, два — по обе стороны подъезда.

У двух огромных тополей перед школой стояли рабочие, за углом прятались еще двое: патруль.

Напряжение на съезде не спадало.

Иван Михайлович почти с ненавистью следил за всеми, кто спорил, кто брал под сомнение тезисы ЦК.

Одни требовали, чтобы лозунг «Вся власть Советам» был снят, другие спорили с этим, считая, что партия отказывается от борьбы за Советы совсем. Они не хотели понять, что после июльских событий политическая обстановка в стране изменилась. Нужно бороться с контрреволюцией и за власть пролетариата в союзе с крестьянской беднотой.

«Вот какое дело: путем вооруженного восстания! И как они не понимают, что партия не отказывается от борьбы за власть Советов, а ставит вопрос о борьбе с контрреволюцией и с предательством нынешних Советов».

Все, теперь подведен итог работы партии после апрельской конференции, выражен протест против травли Ленина, намечена политическая линия на новом этапе. Ленин, его указания чувствовались во всем.

То, что изложил Владимир Ильич еще в Апрельских тезисах и что приняла и утвердила конференция, теперь закреплено съездом: власть должна перейти в руки рабочего класса.

И главное, здесь сказали о том, что Малышев чувствовал давно, как, наверное, чувствовали все большевики: социалистическая революция назрела, мирное ее развитие дальше невозможно.

Захотелось немедленно ехать домой и действовать, действовать.

Видимо, все делегаты переживали это же чувство Нетерпеливо кричали они маловерам и спорщикам:

— Оппортунисты!

— Хотите расколоть партию!

— А мы едем домой с ясной целью!

Съезд закончился. Словно по команде, поднялись делегаты. Постояли молча. Каждый взвесил свои силы. Каждый представил себе, что необходимо готовиться к большим и жестоким сражениям.

XXIII

С настроением взять власть силой шли в Екатеринбурге партийные собрания и профсоюзная первая конференция. Большевики приняли решения съезда как директиву.

В доме Поклевского на втором этаже размещался Совет. На третьем, по широкому коридору налево, комната комитета большевиков. Напротив такая же — эсеров. Эсеры ловили в коридоре людей, уговаривали вступать в их партию.

Малышев смеялся:

— Ах, какой они себе авторитет приобретут! Пусть всех слабаков к себе вербуют, а к нам пусть вступает меньше людей, но по убеждению.

Часто эсеры прямо с крыльца говорили речи. Кобяков размахивал белыми руками. Бойкие слова его прыгали, не задерживая внимания.

Кто-то из членов союза молодежи и в этот раз сообщил о митинге Малышеву, и тот вышел на крыльцо, что привело собравшихся в радостное волнение. Пиджак у Ивана расстегнут, кепка сдвинута на затылок. Из-под нее падала на лоб волна светлых волос.

— Вам тут эсеры забивают мозги, товарищи, призывают профсоюзы к бездеятельности! Не верят в единение! А мы уже знаем, что только при единении можно победить! — Напористые его слова вызвали одобрительный гул толпы.

По Покровскому проспекту беспорядочной толпой шли солдаты, только что приехавшие с фронта и не понявшие того, что происходит. Солдаты следовали в Сибирь. В Екатеринбурге их остановил голод. Измученные, злые, они, горланя, по пути разбивали окна, снимали и топтали вывески с двуглавым орлом.

Все они были на одно лицо, всех единила дикая безудержная злоба.

Люди на их пути бежали прочь, другие судорожно метались, прячась за углы, в подворотни.

Солдат нужно выслушать, убедить, что они попали к друзьям. Приветливо улыбаясь, Иван Михайлович на правился навстречу толпе, дружелюбно спросил:

— Братцы, что это вы? — Голос мягкий, улыбка широкая, взгляд прямой. Он протянул им руки. Все это смутило некоторых из солдат впереди. Сзади же продолжали напирать, оттуда слышались гневные возгласы и брань.

Солдат из первых рядов с финкой в руке обернулся и крикнул охрипшим басом:

— Тихо, вы!

Солдаты стихли. Широко поведя рукой, Малышев сказал:

— Идите к нам, разберемся!

Через час они ушли от него успокоенные, словно их подменили. Некоторые оборачивались, кричали:

— Я напишу обо всем, товарищ Малышев.

— Бедноту мы поднимем… не беспокойся.

В конце дня в комитет вошла молодая женщина, улыбнулась приветливо. Была она плотная, статная, темные волосы причесаны строго, лицо круглое, румяное, застенчивый взгляд таил волю и ум.

Малышев, прочтя ее документы, поднялся.

— Вот к нам и пополнение. Анна Николаевна Бычкова! — объявил он.

Голос у женщины сильный. Она начала рассказывать, как бежала из сибирской ссылки, как жила в эмиграции в Нью-Йорке.

— Когда услышала о падении самодержавия, места не находила, потянуло на Родину.

Иван Михайлович потирал руки:

— А знаешь, ты отличным секретарем профсоюза рабочих металлистов будешь, как я погляжу!

Бычкова кивнула, соглашаясь. Малышев продолжал:

— Союз перевели теперь вместе с союзом деревообделочников на Златоустовскую улицу, 27. Найдешь? — И сам же ответил, обращаясь к товарищам: — Найдет! Такая все найдет! С шестого года член партии. Учительница. В Нью-Йорке была членом русской федерации при социалистической партии.

Дни были полны неожиданностей. Вечером, отвечая на вопросы Наташи, он не знал, с чего начинать рассказ.

Раз Иван Михайлович привел домой высокого красивого матроса: русское лицо, рыжеватые брови вразлет На ленте бескозырки золотом вытиснены слова — «Заря свободы».

— Павел Данилович Хохряков. Приехал к нам по рекомендации товарища Андрея… с ним несколько матросов. Он будет организовывать Красную гвардию, — представил жене гостя Иван. — Он, Натаха, уже сегодня на митинге выступал.

— Дай ты человеку сесть… Небось он устал с дороги… Садитесь к столу, угощу чаем.

— Не откажусь, — согласился Хохряков. Голос у него глубокий, взгляд серых глаз живой, пристальный, жесты порывистые, резкие.

Наташа уважительно подумала: «Вожак».

Иван подтвердил ее мысли:

— Он будет возглавлять у нас военную работу среди солдат в

гарнизоне, большевиков будет представлять. Для начала, Павел Данилович, с хулиганством помоги бороться. Растет в городе хулиганство. Особенно шалят по Березовскому тракту, на Цыганской площади.

— Справимся, — спокойно отозвался Хохряков.

А скоро Иван уже рассказывал жене:

— Ну… Павел Хохряков действует. Вызвал из столицы матросов, создает красногвардейские отряды. Анна Бычкова — ох, и быстрая! Она и бухгалтер, и делопроизводитель, она держит связь с представителями. Союз уже отстранил Злоказова от управления. Завод пустили сами рабочие. «Да неужели? Вот здорово!» — говорю. А она погрозила мне пальцем. «Не хитри, — говорит. — Ведь знал!» — «Знал», — говорю.

— Над чем смеешься?

— Приятно: верят в то, что делают… Хоть и не все еще у нас успешно. Вот сегодня сообщили, что Жиряков, владелец прядильно-ткацкой фабрики в Черноусовской волости, наших уполномоченных не принял. Говорит, что уполномоченные могут у него быть от любой партии, кроме партии анархистов и партии большевиков. Ничего! Мы ему объясним!

…Через три дня на фабрике Жирякова вспыхнула забастовка. Рабочие потребовали повысить зарплату, организовать медицинское обслуживание. Потребовали принять уполномоченного от Екатеринбургского комитета большевиков.

Каждый день приносил новые тревоги и новые радости.

Хозяйчики чувствовали поддержку Временного правительства и сопротивлялись требованиям рабочих. Управляющий Верх-Исетского завода отказался повысить заработную плату, пригрозил закрыть завод.

Чтобы сорвать его план, создали на заводе комиссию рабочего контроля. Когда Малышев, возглавив эту комиссию, пришел к управляющему, тот сник. Но бухгалтерские книги для проверки не дал.

Малышев смеялся:

— Уж если мы нацелились, так всего, что требуем, добьемся! Мы знаем все. Мы знаем своих врагов. Мы их с детства знаем!

…Корнилов поднял мятеж. Его цель — подавить революцию, свергнуть Временное правительство, объявить себя военным диктатором и продолжать войну.

…Временное правительство ввело смертную казнь.

И снова митинги, митинги.

Хороша бывает осень на Урале. Земля звонкая, сухая: жухнет листва у деревьев, меняет окраску, еще не полностью, чуть-чуть посветлеет или потемнеет лист и, кажется, зазвенит. Небо белое,

ясное и мирное! Не верилось, что идет война, что где-то умирают люди, враждуют между собой.

На улицах много пьяных. Это тоже не вязалось с нарядным звонким днем. Молодые парни дебоширили, ухарски орали песни. Город точно пропитался тошнотворным запахом самогона.

— Где берут самогон? — допытывался Малышев у Хохрякова.

— На рынке, где еще. Бочками привозят. Вчера мои матросы у одной торговки несколько бочек опрокинули. Налетят на бочки, ткнут в днище как следует сапогом и — хоть купайся!

— Ну и пусть тычут! Торгуют враги: хотят обессилить нашу молодежь. Просчитаются!

«Нет, товарищи не пьют. А Кобяков часто появляется пьяный». Это не печалило. Кобяков отошел от большевиков, хоть ежедневно и приходилось с ним сталкиваться.

Вот и на выборах Верх-Исетского волостного земства эсеры захватили трибуну.

— Что такое волостное земство, которое мы сегодня выбираем? — голос Кобякова истерически вздрагивал. — Это орган, исполняющий решения нашего народного правительства! Нам нужно, чтобы на нас надеялись.

Пронзительный свист остановил оратора.

Малышев крикнул:

— Долой с трибуны! — и рванулся вперед: нужно оборвать глумление над доверием рабочих.

— Иван Михайлович, скажи ему!

— Скажу! — по привычке Малышев пригладил волосы. — Эсер Кобяков ратует за свое эсеровское правительство, а каково положение народа?! Корнилов-генерал хочет власти и крови! Хотят голодом страну задушить. Заводы закрываются. Всюду карательные отряды, убийства, тюрьмы! — негодование и скорбь душили Малышева. — А они предлагают принять присягу Временному правительству?! Да свергнуть его надо, а не присягать!

Раздались одинокие визгливые крики:

— Лишить его слова!

— Долой!

Малышев увидел исказившееся лицо Кобякова, его бесстыдные глаза и рассмеялся: «Да разве можно отступить?»

Один за другим поднимались на трибуну большевики.

— Долой эсеров!

— Долой саботажников!

Выскочил на трибуну Евдокимов. Голос высокий, отрывистый.

— Сколько крови пролито в эту войну! Эта кровь призывает к отмщению! Только продолжая воевать, мы спасем нашу свободу!

В ответ слышался оглушительный свист:

— Уйдешь с трибуны, или тебя снять?!

— Иди, подводи «дебет-кредит» купцам Агафуровым, бухгалтер!

— Малышев не член земства! — Злая вызывающая улыбка перекосила Кобякову лицо.

— Вон с собрания!

— Сами уходите!

— Предатели!

Грозный шум нарастал. Кто-то уже двигался на Кобякова грудью, подталкивая его к выходу.

Эсеры вскочили с мест, покинули собрание.

— Они думают, мы без них погибнем!

— Иван Михайлович, веди!

Собрание продолжалось.

Скоро эсеры один за другим начали возвращаться, трусливо пряча глаза, просили:

— Разрешите…

— Мы согласны участвовать в выборах Верх-Исетской волостной управы.

Большевики насторожились: хитры их враги. Что они выкинут сейчас, трудно предвидеть.

Огласили требование о переходе власти к Советам.

Кобяков вежливо улыбнулся и сжал кулаки.

…Наташа гордо смотрела на мужа: и она много успевает сделать. Она делегат второго съезда Уральского Совета. Съезд призвал рабочих провести первого сентября однодневную всеобщую стачку.

— Мы решили протестовать против наступающей контрреволюции! Мы призываем к вооруженному восстанию против буржуев! — рассказывала она мужу.

Иван Михайлович засмеялся:

— Ты забыла, что я тоже делегат съезда, и я тоже протестую и призываю и буду, как все, проводить стачку.

Наташа подтвердила:

— Да, Ваня, мы вместе! Понимаешь, вместе! Мы и на митинг пойдем теперь как равные!

…Но в день стачки, с утра, Наташа была бледна, долго лежала в постели.

— Что с тобой? — озабочено допытывался Иван.

Беглая недоумевающая улыбка скользнула по ее лицу.

— Я не возьму тебя сегодня на митинг.

Она противилась, была рассеянна и словно прислушивалась к чему-то.

— Потом мне все расскажешь? — попросила она.

— Как всегда. Только если я задержусь, пожалуйста, не думай, что я встречаюсь с Наденькой!

— Ну сколько ты меня будешь упрекать?!

— Я ушел. Даже позволяю тебе лежа читать, потому что ты отвыкла быть одна…

— А я не одна останусь.

— То есть?

— Я останусь с сыночком или с дочуркой…

— Наташа?! — воскликнул Иван Михайлович, привлекая ее к себе.

— Иди, не беспокойся.

Иван не успел уйти, как в квартиру вбежал Мрачковский:

— Вы с ума сошли, Иван! Стачка принесет нам только вред, усилит корниловщину, она против Временного правительства… Надо мирно взять власть! — Сергей вернулся только что из командировки и не знал последних событий.

Иван строго спросил:

— Ты что в сторону свернул, Сергей?

Тот возмущенно поглядел на него, ничего не сказав, ушел так же внезапно, как появился.

«Неужели закачался? «Мирно взять власть!» Не ужели не понимает, что мирно взять власть рабочим не удастся! Но мы возьмем власть! К нам прибывают новые люди: никогда столько рабочих не вступало в партию. Народ старается сплотиться вокруг нас».

…По гудку к Верх-Исетскому заводу, как всегда потянулись рабочие.

— Денек-то выдался какой! Небушко помогает.

Небо было совсем молодым, точно не стоял сейчас сентябрь, точно не прошли недавно дожди.

Навстречу из завода шли люди с ночной смены и тоже задерживались на площади. Собрались все смены. То один, то другой рабочий вскакивал на тумбу.

— Правители обнаглели, забылись! Долой капиталистов! Долой каторжные законы! Долой смертную казнь!

И кто бы ни говорил, каждый приветствовал Советы, мир, пролетарскую революцию.

Малышев вглядывался в лица собравшихся: ни одного меньшевика, ни одного эсера! Спрятались, голубчики, притихли!

Он говорил о политике Временного правительства, о соглашателях-меньшевиках и эсерах, о необходимости как можно скорее взять и передать в руки Совета власть.

Взметнулись над головами руки: проголосовали. Все

требовали смены правительства, кричали:

— Охрану труда! Рабочий контроль!

— Мир! Требуем мира!

Лозунги провозглашались только большевистские. Даже Мрачковский выкрикнул, стоя у трибуны:

— О созыве Всероссийского съезда Советов надо требовать!

Иван усмехнулся:

«Так-то лучше! Не-ет, тебя ни на шаг отпускать нельзя, чтоб не завихрило…»

XXIV

Октябрьские ветры мели по взъерошенным улицам сухой лист и щебень, задирали подолы, сшибали с ног. Мятежное небо, казалось, кружилось, бежали свинцовые облака, обгоняя друг друга, менялись местами, как в бесовском хороводе. Деревья протягивали к ним голые ветки. И люди тоже бежали, бежали, — все в одном направлении, к комитету большевиков.

Малышев на крыльце, взволнованный решительной минутой, которую ждали, говорил:

— Ненавистное Временное правительство свергнуто! Пришла на смену ему новая, действительно революционная власть! Да здравствует мир между народами! Предлагается местным Советам взять власть в свои руки. Всякое сопротивление подавлять оружием!

Почти одновременно по всем площадям над каждой толпой, перед которой выступали большевики, вспыхивали над головами рабочих красные флаги; город весь трепетал заревом. Здания правительственных учреждений немедленно были заняты рабочими дружинами. На груди у каждого дружинника красный бант.

В доме Поклевского необычайная суета. Слышны голоса, стук дверей. Лица то радостно-оживленные, то недоверчивые.

Кобяков в коридоре кричал:

— Они думают, так и взяли власть! Да ведь большевистская партия изжила себя! Маркс тоже изжил себя! У кого учиться?

— Не у тебя! — отозвались из комнаты большевики. Спорить с ним в эти дни было некогда.

Над толпой ветром разносились листы бумаги: с чердаков притихших особняков чьи-то руки бросали листовки:

> «Революция разгромлена! На Урал движутся эшелоны с войсками Керенского».

Листки падали и падали над городом, над каждым митингом.

— Меньшевики и эсеры действуют… — сказал Иван в комитете. — Но если эти сообщения о Керенском и окажутся верными, то мы все равно свалим под откос эшелоны, которые будут против нас двинуты!

В комитет приходили все новые группы рабочих. Говорили громко и нервно. Смеялись отрывисто.

Дня через два у комитета прекратилась связь: ни звонков, ни газет, ни сводок о событиях в стране. Бастовали почтовые и

телеграфные работники, не желая признавать правительство рабочих. Петр Ермаков поехал за газетами на вокзал. Такое больше терпеть нельзя.

Дружинники Ермакова и матросы Хохрякова осадили здание почты. Малышев направил туда Мовшензона с комсомольцами. Вооруженные и строгие, ребята стали у аппаратов.

Чиновники молча рвали телеграммы, вывинчивали из аппаратов детали, выключили электричество. Они ходили по зданию крадущейся походкой и делали свое черное дело. Слышался спокойный голос Ваганова:

— Вверни обратно…

— Зажги свет! — вторил ему Саша Медведев.

Не умея соединять линии, молодежь связывала их как попало.

Директор телефонной станции не выдержал:

— Испортите телефоны!

Кто-то из ребят с винтовкой подвел директора к аппарату.

— Показывай, как нужно…

Под страхом наведенных на них дул чиновники все поставили на места.

Комсомольцы сели за аппараты. Связь была восстановлена. И сразу же и в Совете, и в комитете телефонные звонки. Бесконечные звонки. Новости из Петербурга и Москвы. Закрылся еще один завод. Нет топлива. Нет денег. Нет продовольствия. Администрация саботирует. Администрация разбежалась… В приютах дети умирают от голода. Здания приютов не отапливаются.

Малышев звонил сам:

— Конфисковать дрова для приютов… для заводов… Мобилизовать подводы. Администрацию, которая саботирует, гнать. Назначить свою, рабочую. Да, да! Свою!

Между звонками писал листовку:

> «Двадцать первое ноября — День Советов! Смотр нашим силам! — демонстрация тесного единения рабочих и крестьян!»

На улицах собрались обыватели, слышался говор:

— Большевики погром будут устраивать!

С утра со всех окраин к пустырю между городом и Верх-Исетским заводом торжественно шли колонны рабочих и солдат. Работники Совета и комитета большевиков со знаменами шагали под оркестр. По одну сторону пустыря-площади разместились воинские части: четыре вооруженных полка Екатеринбургского гарнизона, полторы тысячи революционных солдат старой армии,

по другую — рабочие заводов. Раздавались крики «ура», пение «Марсельезы».

Площадь вздымалась флагами. Четко отпечатывая шаг, шли отряды красногвардейцев железной дороги, вагоноремонтного завода — Монетки, злоказовской текстильной фабрики. К Верх-Исетскому отряду присоединился отряд спичечной фабрики. Им командовала Мария Куренных.

— А эта куда еще?! — крикнул кто-то в толпе.

— Молчи! У Марии Куренных мозолей больше, чем у тебя волос!

Она очень изменилась, Мария Куренных. Прибыло выдержки, речь стала грамотней, движения спокойные, уверенные.

«Вот это и пугает Кобякова и компанию. Вот эта сила, которая вдруг проснулась!» — подумал Малышев.

Объединенный отряд вел стройный, подтянутый Петр Ермаков. Малышев любовно смотрел на друга: ссылку и тюрьмы прошел Петр Захарович, черные волосы его седеют, а волнуется, даже спутал шаг и тут же поправился.

Падал мягкий снег. В открытом дворе визжали дети, играя в снежки. Но тут же бросились к воротам, чтобы посмотреть на солдат.

Отряды молодежи маршировали с самозабвением. Бежал от одного конца площади на другой мощный гул голосов.

В строгом порядке все двинулись по городу.

Малышев размышлял с гордостью: «Это наши усилия! Зрел гнев. Зрели мысли. Передавались от одного к другому. Незаметно, исподволь пробуждалось сознание людей, а за этим — кружки, явки, тюрьмы, ссылки, каторга. Разбуженная сила окрепла, стала грозной».

На улицах неспокойно. Красногвардейцы оцепили кварталы. Облава: кого-то ищут.

— Хохряков Паша действует, — отметил Иван. — Вчера семьдесят грабителей захватили.

Нет-нет да раздавались выстрелы: за кем-то бежали матросы.

Кричала простоволосая женщина:

— Ограбили! Что мне делать?!

Пронесли на руках, полуволоком только что подстреленного бандита. Он отплевывался кровью, хрипел:

— Подождите, красная сволочь!

…Враги. Кто-то, дыша откровенной злобой, выворачивал душу в брани, кто-то притаился.

Сергей Мрачковский, словно подслушав раздумья Малышева, взволнованно произнес:

— Нет, нас не затравить!

Почти в темноте Иван возвращался домой.

На него налетела какая-то старуха. Сморщенное, как дряблый картофель, лицо тряслось, глаза горели из-под надвинутого на лоб рваного платка. В руках болталась пустая кошелка.

— А-а, вот ты где! Знаю, что это ты, Малышев-то. Показывали тебя на митинге. Гордились: наш человек у власти! Ты сам-то сыт? Я чем сегодня семью накормлю? На базаре ничего нет, лавки закрыты. А и было бы, так ничего не купишь. Моим работникам денег за работу не платят! Как жить, скажи, власть наша народная? — старуха махала перед лицом Ивана пустой кошелкой.

Он ласково посмотрел на нее:

— Намучилась ты, мать! — и от этого ли участия, от понимающего ли его взгляда старуха вся затряслась в плаче.

Иван Михайлович поправил на ее голове платок, сдвинутый набок.

— Саботируют торгаши. Продукты припрятали. Саботируют и заводчики, не платят рабочим. И все для того, чтобы нам помешать на ноги встать. Так что будем делать, мать? Руки опускать? Слезы лить? А может, бороться за нашу власть? Как скажешь?

— Не любо им? Не любо, что рабочий человек выпрямиться хочет? Сыновья мои это же говорят! Ладно. Иди, Иван Михайлович, своей дорогой, не отступай!

За квартал от своей квартиры Иван услышал веселый перезвон бубенцов. Из-за угла вылетела тройка. В широкой расписной кошеве лежали, сидели, стояли какие-то парни, лихо гикали на лошадей. Красавец с заломленной на затылок шапкой крутил над головой веревку так стремительно, что она свистела.

— А-а, партия большевиков! — заорал кто-то из кошевы. — Давай, Сенька, заарканим Малышева! То-то будет потеха!

Веревка развернулась, и конец ее с петлей полетел к Ивану. Чья-то большая смуглая рука, поднявшись из-за плеча Малышева, отбросила петлю в сугроб. Бороздя и взбивая снег, веревка поползла за тройкой под гиканье хулиганов.

Рядом с Малышевым стоял Петр Ермаков в заснеженной ушанке и улыбался, вытирая вспотевший вдруг лоб. Сквозь обычную смуглость кожи на лице — даже в сумраке видно — проступала бледность. Всегда живые черные глаза были усталы.

— За тебя испугался… Налетчики… — как бы извиняясь, сообщил он. — Гоняют по городу… Они и магазины грабят, и в дома врываются… а в общем, поздравляю, как ты говоришь, с хорошей погодой! Тебя, друже, одного больше мы разгуливать по городу не пустим!

Ермаков сопровождал Малышева до квартиры.

— Скоро пойдешь из дома?

— Да, вот, повидаю незаконную и вернусь в комитет. С Хохряковым надо поговорить об обстановке.

— Тогда я тоже к тебе сейчас зайду. На Натаху посмотрю и обратно вместе пойдем.

— Только чур: об аркане ничего Наташе не говори. Ей сейчас волноваться нельзя.

Наташа, как всегда, вспыхнула при виде мужа, бросилась к нему и остановилась — он был не один.

— Живем, Натаха-птаха?

— Живем, Иван Красно Солнышко.

— Накормишь?

Наташа с улыбкой поставила на стол две тарелки, две чашки.

— Садитесь. Петр Захарович, прошу. Напою я вас чаем «с удовольствием» вместо сахара.

Мужчины сняли пояса с наганами, сели к столу.

Наташа достала из котелка на плите единственную картофелину, тщательно разделила ее на две половины.

Ермаков следил за нею немигающим взглядом, в котором застыло удивление. Похудевшая, с ввалившимися глазами на белом лице, Наташа улыбалась приветливо, как прежде.

— Знаешь, незаконная, мы вообще-то только что поели, — заявил Иван, подмигнув другу.

Ермаков, всегда и во всем прямой, поторопился внести ясность.

— Вот что, други: так жить нельзя. Чтобы в семье первого председателя городского комитета большевиков да не было чего поесть? Вы что молчите? — он распалялся все больше, лицо его налилось краской, губы задрожали: — Обижаешь нас, Иван… У нас у всех огороды… картошка своя, неужели бы не помогли?.. Даже беременную жену не бережешь из-за своей скромности… Да ты знаешь, какой из нее пропагандист вырос? Ты слышал, как она в кружках говорит?!

— Не слышал. Я дневник ее читал…

— Ваня! — с упреком бросила Наташа.

— Ладно. Пошли! Пошли, Иван.

— Куда?

— В комитет. Наталья, ты не беспокойся: он скоро вернется. Давай надевай свою пушку. Чего стоишь? Надевай, говорю.

— Да чаю-то попейте хоть, согреетесь!

— А нам не холодно, — отрезал Ермаков. — Меня больше в жар бросает! Пошли, друг.

Ермаков привел Малышева к нарядному особняку,

решительным пинком открыл дверь.

— Меня Хохряков ждет. Куда ты меня тащишь?

— Иди, иди. Сам увидишь. Не хотели мы тебе сказывать, да вот пришлось.

В большой прихожей, в которую вели три двери, на вешалке красовались добротные шубы. В одной из комнат раздавался веселый гул голосов, звон посуды. Иван еще раз спросил:

— Куда ты меня привел?

Но Ермаков уже широко открыл дверь и сказал:

— Здорово!

Малышев шагнул за Ермаковым в комнату. Шум стих, сидящие за столом застыли в замешательстве Иван разглядел под блестящей люстрой Кобякова, Евдокимова и еще нескольких людей в военной форме, незнакомых ему. Потрясло Ивана то, что среди этой публики сидел Сергей Мрачковский. Странная натянутая улыбка блуждала на губах Кобякова. Казалось, ее нацепил кто-то посторонний. На столе, на полу валялись раздавленные окурки. В углу на ковровой тахте, вся сжавшись, сидела женщина.

— Принимай гостей, — обратился Ермаков к Кобякову, нарушая неловкую тишину.

«Значит, я попал в квартиру Игоря», — отметил про себя Малышев.

По какому-то знаку хозяина мужчины за столом враз зашумели:

— Иван Михайлович! Друг!

— Малышев, к нам!

— Садись, дорогой!

— Рады, что посетил сию обитель.

Люстра, раскачиваясь над столом, выхватила из темного угла бледное лицо женщины. То была жена Кобякова.

Стол был заставлен яствами. Здесь были вина, которых Малышев никогда не видел, огромный торт, шоколад в плитках лежал на углу стола целой горой.

Кобяков наполнил хрустальные рюмки.

— Выпей, друг Иван! Возвысь сердце! Принимай, Петя! Да и у нас беседа засыхает, надо ее размочить! — угощал он. И все за столом вытянули шеи, чтобы не пропустить ни одного движения Малышева.

— Анна, выпей, что ты такая дохлая?! — развязно кричал Кобяков.

— О тебе думаю, — неприветливо отозвалась женщина.

Перед глазами Ивана Михайловича проплыла трясущаяся старуха с пустой кошелкой, единственная картофелина на столе в

собственном доме.

— Откуда у вас такое богатство?

Кобяков молчал. Мрачковский тяжело поднялся и направился к двери. Иван яростно крикнул:

— Сиди!

— Да я здесь случайно! Затащили товарищи…

— «Товарищи»! — повторил Иван. И снова спросил:

— Ну, так откуда же у вас такое богатство?

На вопрос отозвалось несколько голосов:

— Ха, друг! Наша теперь власть!

— У буржуев полные подвалы вин!

— Ну-ка, поищи какую-нибудь посуду, — кивнул Малышев Ермакову.

Тот побежал на кухню.

Малышев, исподлобья глядя на подгулявших, медленно расстегивал кобуру нагана.

— Предатели! Революцию продали! Я вас перестреляю!

К Малышеву бросилась Анна, повисла на его руке.

Кто-то прошмыгнул к выходу.

Ермаков внес огромное ведро и начал сливать из бутылок вино, сшибая горлышки бутылок.

Кобяков кусал губы, молчал, разглядывая свои руки.

Он был безоружен. Пояс с маузером висел на ковре над тахтой.

— Детские приюты голодают, в больницах для больных нет рюмки вина! — голос Малышева дрожал. — А вы!

Евдокимов торопливо налил коньяк и начал пить медленными глотками.

Кобяков закричал:

— Не имеешь права вино выливать!

— Молчи, мерзавец!

Вина были слиты в ведро.

Тяжело дыша, Малышев опустился на стул, не держали ноги. Анна рывком подскочила к столу и начала собирать шоколад в салфетку.

— Отдайте для приютов. Я, Иван Михайлович каждый вечер… Они таскают вино — я стыжу их. Но что я?

— Говорить им мало. Мы будем расстреливать за мародерство каждого.

— Вино-то куда, Иван?

— В сугроб. Пошли.

На улице Ермаков вылил вино в снег, ведро швырнул к крыльцу. Оно, ударившись, зазвенело. И этот пустой звук словно застрял в ушах. Зеленые, как от угара пятна плыли перед глазами.

Мрачковский выскочил следом, на ходу надевая пальто.

— Иван, послушай.

— Уйди! Ты опять в сторону.

— Да затащили они меня!

Никогда в жизни не переживал Малышев такого оскорбления. Казалось, это лично его обманули в чем-то большом. Вспомнились избиения в царских казематах. Да, тогда его достоинство страдало. Но те оскорбления были от врагов, от темной их силы. А сейчас? Сергей…

— Нет худшего зла, чем предательство и лицемерие! — повторив эту фразу, Малышев почувствовал облегчение точно нашел и сказал самое главное, что мешало жить.

В кабинете Хохрякова редка тишина. Матросы то и дело уходили куда-то по его слову, возвращались вновь, приводили арестованных, уводили их. Хохряков вел допросы.

На этот раз он был один. На столе большой грудой высилось золото, драгоценные камни, а сам Павел, положив рядом голову, дремал.

Малышев спросил:

— Ты здоров, Паша?

Тот сразу, будто не спал, взглянул на друга воспаленными глазами, сказал, продолжая какие-то свои мысли:

— Теперь уже ясно, что против нас собирают восстание… Я приказал усилить охрану дома. Давай-ка, друг Иван, попьем чайку…

Хохряков потянулся с хрустом, не вставая с места, только слегка повернувшись, достал с окна завернутый в бумагу ломоть черного хлеба, разделил на две части, налил в алюминиевые кружки кипяток, стоящий сбоку от него, на тумбочке.

— Попьем чайку. Хлебец пососем, — сказал Иван Михайлович. Они взглянули друг на друга и рассмеялись.

— Да, забыл! — спохватился Хохряков. — Мне надо допросить еще одного негодяя! — Он быстро подошел к двери и крикнул: — Приведи ко мне этого… анархиста в рогоже.

Они хлебали кипяток, обжигали губы и действительно сосали хлеб.

Хохряков рассказывал:

— На Коковинском пустыре[8] вчера захватили несколько бандитов с награбленным.

— Матросам своим веришь?

— Как тебе. Народ хороший.

— Говорили мне, что избивают они невинных! — заметил Иван Михайлович, пытливо глядя на друга.

— Да это не матросы. Налетчики на крестьянские обозы на

базаре нападают. Вот один и попался мужикам. Они ему и вкатили. Тот видит, что забьют до смерти, начал орать: «Матросики, спасите!» Ну, а мои орлики немножко пообождали… «Пусть, говорят, его еще поучат. Нам бить начальство запрещает»… Ну, крестьяне его и поучили. А матросы — нет…

Вновь друзья встретились взглядами и рассмеялись. Павел сказал:

— Не жалеть их надо, а уничтожать. Мы вчера по гостиницам прошли. На меня в каждом номере царские офицеры наганы наставляли. По имени-отчеству называли: знают, сволочи. В глаза посмотришь — враг.

— А куда ты их?

— В подвал. Там уже побывали спекулянты, валютчики, заговорщики, анархисты. Сколько всякой нечисти!

В кабинет ввели арестованного. Длинные волосы, лицо обросло рыжей щетиной, загнутый вниз нос делал его зловещим. На плечи была накинута рогожа. Анархист исподлобья бросил взгляд на сидящих за столом людей, опустил глаза.

Что-то снова привлекло его внимание. Он вскинул рыжие ресницы, уставился на груду золота на столе, шагнул ближе. Матросы, стоявшие у входа, весело перемигнулись.

— Награбленное делите? — ядовито спросил арестованный.

Что-то знакомое Малышеву было в его облике. И голос, высокий, срывающийся, когда-то знал Иван. Да ведь это…

— Юрий Чекин? Пермяк?

Он вздрогнул, вперился взглядом в Ивана.

Тот спросил с вызовом:

— Не узнаешь?

— Иван, — Юрий скривил губы, — ты что же… в верхи подался?

— А ты… до анархистов скатился… Давно в банде?

— Анархисты — не банда, а партия.

— Да, да, слышали: «Анархия — мать порядка!»

— А ваша партия? Царя свергли…

— Царя свергли. А ты что, часто к нему в гости хаживал? — озадачил его Иван вопросом.

— Ваша партия… — опять накинулся Юрий.

— Не трогай нашу партию! Наша партия прошла сквозь ложь и сквозь предательства неуязвимой! А ты… Быстро же ты потерял цель и надежду… С тоски, наверное, в чучело обрядился.

— Чем занимался? — начал допрос Хохряков.

— Жил зятем богатого тестя, — издевался анархист.

Малышев подумал: «К несчастью, не все подлецы трусливы», — поднялся и направился к выходу.

— А насчет «награбленного», Юрий Чекин, пермский анархист, так это все пойдет на строительство нового небывалого государства! — бросил он рвущимся от гордости и негодования голосом и повернулся к анархисту спиной.

Но анархист, наверное, не слышал. Его взгляд снова был обращен к золоту.

XXV

В хоромы миллионера Харитонова[9] ворвались молодые голоса. В город начали съезжаться делегаты первого съезда Союза молодежи.

Около кинотеатра «Художественный»[10] группу делегатов окружили реалисты из организации «Колокольчики», совали деньги, упрашивали голосовать на съезде за список контрреволюционных союзов.

Молодежь расправлялась с ними просто: кулаками.

Во дворце — песни, веселый шум. Делегаты проникли и в сад. В саду — беседки, павильоны, скульптуры, на прудке — островки.

В залах лепные потолки, дорогая живопись то и дело вызывали восхищенные возгласы.

Говорят, здесь происходили неслыханные кутежи, сюда привозили выкраденных на рудниках девушек; здесь масса всяких тайников, раскольничьих молелен.

Клавдия Завьялова и Елена Вайнер с тревогой следили за каждым делегатом: это именно они подняли молодежь, учили ее по кружкам, и для них это собрание — проверка сил.

Римма Юровская, дочь подпольщика-большевика, черноглазая, стройная, сидела рядом с подругой Марусей Жеребцовой, нежной и застенчивой. Костя Наумов чем-то смешил их.

Абрам Мовшензон осевшим от волнения голосом открыл заседание.

Начался первый съезд Союза молодежи Урала.

Приветственные телеграммы встречали стоя, громко аплодируя. Римма Юровская звонко читала письмо от большевиков Лысьвы.

> «В лице съезда мы приветствуем социалистическое юношество Урала, новую, поднимающуюся силу, которая будет надежным и крепким союзником в борьбе за III революционный Интернационал и за социалистический строй».

Малышев с любопытством оглядывал оживленные лица.

«Подняли силушку! Молодец к молодцу!.. Да это же надежный и крепкий наш помощник!»

Обсуждалась резолюция по текущему моменту. Теперь почти ничего не приходилось подсказывать: ребята сами все понимали и решали. «И когда успели»! — удивлялся про себя Иван, забывая,

как он и его товарищи бегали по молодежным кружкам, учили, подсказывали.

Пробрался к трибуне Алистратов, делегат из Мотовилихи, белобрысый, курносый. Парень волновался, вначале косноязычил.

Успокоившись, заговорил четко, возвышая голос. Но что такое он несет?

— Мы, делегаты Мотовилихи, голосовать за эту резолюцию не будем! Нас на это не уполномачивали!

Быстро шел он по проходу обратно, к своему месту. Зал гневно гудел.

Малышев, вначале оглушенный, думал: «Вот тебе и надежный, и крепкий помощник! Ах ты, революционная Мотовилиха! Повыдергали царские тюрьмы лучших твоих сынов, отстала ты, матушка!»

К трибуне подвигался новый оратор — Свинкин из Златоуста. Широкое лицо. Тяжелая спина. Он шел развязно, загребая руками воздух. Он повторил слова Алистратова, но ему не дали договорить.

— Довольно! Хватит! — крикнула с места Светлана Смолина.

Иван подумал с гордостью: «Вот мы какие!»

— Подожди, Света, дай ему до берега доплыть!

— Ему не доплыть! — негодовала та. — Петляет! Да где у него партийная совесть?

— А он беспартийный!

Как показательны эти два оратора! И в Мотовилихе, и в Златоусте рабочее движение последние годы замерло. Нельзя людей оставлять без руководства.

Чернобровый, черноглазый паренек, красный от негодования, выскочил вперед. Миша Луконин, делегат от Верх-Исетского.

— Мне тоже не давали наказа, как я должен думать, за что голосовать! — для храбрости он размахивал руками. — Но я буду голосовать за то, что мне дало возможность свободно прийти на съезд и свободно высказаться. Я душой рабочего чувствую, что за эту резолюцию голосовать надо!

Аплодировали неистово.

Многие соскочили с мест, тянули к Луконину руки, когда тот проходил к своему месту.

Савва Белых, делегат от злоказовского пивоваренного завода, светловолосый красавец, живой, смешливый, страстно продолжил его мысль:

— Наш путь указан партией большевиков и Октябрьской революцией. Другого мы никогда искать не будем!

Иван Михайлович ласково думал: «Здорово. Надо этих ребят использовать для агитационной работы среди населения».

Вот они ведут разговор о новом законодательстве, экономическом положении подростков. Правильный разговор.

Малышев повеселел: «Не дадут ребята глумиться над своей правдой!» — Он радовался и тому, что съезд этот объединит молодежные организации, утвердит программу и устав. Этот союз будет называться ССРМ — то есть Социалистический Союз рабочей молодежи.

В зал вбежал Хохряков, потрясая пистолетом:

— Анархисты грозили забросать вас гранатами!

Делегаты съезда повскакали с мест:

— Записывайте нас в рабочие дружины!

— Меня запишите!

— Нас! Мы им покажем!

В городе неспокойно. На заводах поддерживали порядок члены дружины из Союза молодежи.

У станков около молодых рабочих стояли винтовки. Ермаков записывал дружинников, распределял между молодыми оружие, вел обучение.

Летучий отряд Хохрякова много снимал оружия у проезжавших через Екатеринбург казаков, которых для чего-то везли в Омск. Их разоружали, чтобы они не смогли создать ударную силу против Советов.

Верх-исетские мальчишки караулили Малышева на улице и кричали:

— Иван Михайлович, дайте и мне револьвер. Пойду за Советскую власть.

— Просите у Захарыча.

— Он с нами не разговаривает. Он все выбирает поядренее.

— Так и я выбираю поядренее. Вам надо подрасти. А борьбы у нас будет много, успеете. На вас надеемся.

— Мы хотим сейчас…

— Айда, ребята, в Центральный штаб Красной гвардии, к товарищу Хохрякову!

Им доставляло удовольствие произносить эти новые слова: «комитет партии», «Центральный штаб Красной гвардии».

Иван, поднимаясь на крыльцо городского комитета, проводил их любовным взглядом. За ним следом шел в отдалении Савва Белых.

— Чай у тебя есть? — спросил Иван Хохрякова, войдя в комнату.

— Прессованный, земляничный.

— Есть новости?

Хохряков, строгая перочинным ножом в кружку чай, сказал:

— Полно́… Царь сидит в Тобольске. При облаве взяли военного специалиста флота. Говорит, что едет в Тобольск осмотреть готовность судов для плавания Северным морским путем. Признался, что с открытием навигации они намерены выкрасть в Тобольске царя и переправить его в Обдорск, оттуда на английском судне — за границу… Это тебе не новость? — Прихлебывая чай, Хохряков продолжал: — Уголовные шайки налетчиков напали на составы с продовольствием. На Северной улице[11] вчера двух девушек зарезали — это тебе не новость? В Ревде, в Шадринске, в Ирбите мародеры из кулаков, из купеческих сынков и эсеров разгромили магазины и военные склады. Пришлось отправить туда красногвардейцев. В Перми, в Челябинске эсеры учинили погромы, это тебе не новость?

— Да, больно новости-то тяжкие…

— Сюда сейчас стягивается вся контрреволюция… заговоры… заговоры… Нельзя допустить бегство Романова. Закрыть надо дороги, чтобы на Восток его не увезли.

Декабрь выл метелями, заметал дороги.

Вместе с завыванием пурги неслась тревога: казачий атаман Дутов организовал контрреволюционный мятеж, захватил власть в Оренбурге и Верхне-Уральске, арестовал руководителей партийных комитетов и Советов.

Цель атамана Дутова была всем ясна: овладеть Челябинским железнодорожным узлом, не пропускать эшелоны с хлебом из Сибири в Центр и на западный фронт, захватить Тюмень. Дутовцы налетали на железнодорожные станции, разворачивали рельсы, обрывали телефонные провода. Заготовка хлеба для рабочих центров остановилась.

Именно в это время Советское правительство начало переговоры о заключении мира с Германией и Австрией.

Ровно сутки собирались красногвардейцы Екатеринбурга в поход на Дутова. За три дня до Нового года, вечером, Малышев провожал от Верх-Исетска отряд по всему городу. В окнах иных домов виднелись расцвеченные елки. Стекла окон, затянутые морозным узором, переливались радужными огнями. Это было красиво и мирно и почему-то наполняло сердце Ивана стыдом.

Всякий может думать: «А почему же ты, председатель партийного комитета, с нами не едешь? В городе елки зажигать остаешься?»

На вокзале красногвардейцам выдавали теплую одежду и валенки. У складов, где шла раздача, стоял шум: теплых вещей не хватало, многие остались в сапогах, в пальто.

«Я бы и в пальто пошел… и спорить бы не стал…» — подумал Иван. Около него остановился Савва Белых, смущенно улыбаясь.

— Чего ты зубы скалишь?

— Вас приятно видеть, Иван Михайлович!

Иван замолчал, вспомнив, что все последнее время Савва неотступно ходил за ним. Шел ли он домой ночью, Савва брел за ним по сугробам. На всех совещаниях и митингах сидел близко и, озираясь, следил за всем, что происходит. Он сиял, когда Иван Михайлович встречался с ним взглядом. Сейчас Иван сказал ему:

— И чего ты таскаешься за мной? Ты же сам член областного комитета Союза молодежи!

— В этом все и дело, Иван Михайлович: учусь.

И вдруг Иван понял: Савва решил охранять его.

Отгрохотали кровавые бои, в столице сменилось два правительства, кончился семнадцатый год, год двух революций.

А заводчики продолжали бороться против рабочего контроля, не признавали декрета о нем, закрывали предприятия, отказывались их финансировать.

> «Вопрос на Урале очень острый, — писал в те дни Ленин Дзержинскому. — Надо здешние (в Питере находящиеся) правления уральских заводов арестовать немедленно, погрозить судом (революционным) за создание кризиса на Урале и конфисковать все уральские заводы».

Горнозаводская промышленность национализировалась. Техническая интеллигенция саботировала. Большевики метались от завода к заводу, создавали комиссии, которые накладывали арест на имущество хозяев для погашения задолженности рабочим, защищали семьи тех, кто боролся с Дутовым, поручали фабзавкомам управление предприятиями. На заводах неспокойно.

— Торговки кричат, что все голодом живут, кроме комиссаров! — сообщали Малышеву.

— А вы что, поверили? Нет? А если нет, так чего вы ко мне всякий слух несете? Научитесь убедить их, что они ошибаются…

— В Шемахе купец Ситников восстание поднял!

Слухи об этом восстании оказались верными. Немедленно сформировали отряд на подавление мятежа.

Встретил на улице Иван верх-исетского рабочего паренька Сашу Медведева. Совсем еще мальчик, худенький, одетый в старый полушубок с отцовского плеча, с наганом на поясе, в серых подшитых валенках и в мохнатой папахе, он брызгал радостью и не мог стоять ни минуты на месте. Снял папаху, помахал ею. Черные волосы на его голове были так густы, что казалось, он и не снимал папахи с головы.

Иван взял у него из рук разорванную косматую папаху,

рассмотрел внимательно.

— Ага, навылет… Чуть бы пониже пулька прошла — и пели бы теперь над тобой «Вы жертвою пали», Саньша Медведев! Как это случилось?

— Да как, Михайлыч… Мы крикнули ему: «Сдавайся, мол, сволочь!». А он — ни в какую, понимаешь? Ну, я кулаки сжал, поднял их над головой и пошел на него… Он и пальнул… Наши-то вверх стреляли, а он в меня ведь целил… Жаль — скрылся…

— Кто он? Ситников?

— Враг, — посерьезнев, ответил Саша. — А красногвардейцы на дутовском слыхал что делают, Михайлыч?

Иван знал: Дутов бросил Оренбург, части его разбежались. Дружинники Екатеринбурга возвращались домой.

XXVI

У заборов толпы людей. Читали листовки:

> «Всем, всем, всем!
>
> Социалистическое отечество в опасности!
>
> Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть землю помещикам, заводы фабрикантам и банкирам, власть — монархии… Социалистическая Республика Советов находится в величайшей опасности… Священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита Республики Советов против полчищ буржуазно-империалистической Германии».

В толпе говорили:

— Что толковать? Надо! А то ведь расшатают Советы-то!

— Раз наша революция в опасности, все пойдем в ряды Красной Армии!

— Красная Армия теперь из народа, и командиры свои…

Разбитые, но недобитые белоказачьи отряды Дутова, вновь собрав силы, появились в районе Верхне-Уральска и Троицка, создавая угрозу Челябинску.

Большевики начали формировать особую молодежную сотню.

— Что только делается! Ребята наши целыми организациями вливаются в красногвардейские отряды! Мартеновцы всем цехом требуют включить их в отряд… — сообщил Ивану Похалуев.

— Нет, нет… Уговорить их надо. Иначе завод остановится! — Малышев немедленно направился на Верх-Исетский завод.

Снова по улицам города маршировали рабочие дружины: члены Союза молодежи обучались военному делу.

Шапки у парней решительно надвинуты на уши, за плечами торчат винтовки, серые холщовые сумки поверх рабочих пиджаков.

Ребята жили в восторженном полусне.

На пустыре бравый Петр Ермаков упругой походкой расхаживал перед рядами своей сотни. Завидя Малышева, весело крикнул:

— За комиссаром дело у нас!

— Будет комиссар! — ответил тот, невольно поддаваясь общему возбуждению.

Пожилой рабочий с черными повисшими усами спросил:

— Как, Захарыч, поступите с теми, кто в хулиганку в походе ударится или воровать научится?

В рядах бойцов гневно загудели.

— За кого нас принимаете?

— Мы сами таких расстреляем!

Люба Вычугова в сером клетчатом платке схватила мужа за полы пальто и на всю площадь закричала:

— Не пущу на Дутова! Хоть бей — не пущу! Куда я без тебя с дитем?

Костя с багровым от стыда лицом отмахивался от нее и хмуро твердил:

— Отцепись, репейно семечко! Не позорь, говорю, отстань!

Светлана Смолина пробиралась вперед, сильными плечами раздвигая ряды.

— Запишите и меня в дружину! Любого парня заменю.

Сбоку на Малышева напирал старик. Глаза слезились, сердитая борода топорщилась.

— Как хоть, а записывай меня!

— Да куда ты, дедушка? — оттягивал его назад молодой паренек. — И без тебя оружия, слышь, мало.

— Внучек выискался! Да тебе еще у мамкиной сиськи сидеть! — Руки старика, оплетенные вздувшимися синими венами, угрожающе поднялись: — Да у меня на царской войне двух сынов убили, как две руки отсекли, а я теперь сиди?!

Светлану, видимо, уполномоченные записали, и теперь она, успокоенная, стояла рядом с Михаилом Лукониным. В стороне плакала Вера Краснова, ей отказали: мала ростом и силой. Мимо группой прошли работницы.

— Девчата, вы от какого завода?? — спросил один из парней, туго подпоясываясь полученным желтым ремнем и прицепляя сумку с патронами.

— С злоказовской фабрики.

— А у вас все такие?

— Через одну, — лукаво бросила через плечо маленькая девушка с угловатым смуглым лицом.

— Ишь ведь! Остра! Как хоть звать-то тебя?

— Шура Лошагина.

Малышев вышел вперед, взмахнул листком. Гул голосов потух. В тишине кто-то без нужды крикнул:

— Тихо! Малышев обязательно читать будет.

— За уход с поста, мародерство, воровство, пьянство и прочие поступки… — читал Иван, все повышая голос и все более волнуясь, — порочащие звание солдата пролетарской армии, — расстрел…»

Одобрительно зашумели в рядах:

— Трибунал надо выбрать!..

— Сейчас же! Пусть строго судят..

— Синяева выбрать надо!

— Василия Ливадных!

— Орешкова!

В партийном комитете тоже шумно и тесно. На лестнице, в комнатах — на окнах, на полу, на стульях — сидели люди.

Хохряков пожаловался Ивану:

— Оружия мало… А то бы всех взял. Придавили бы Дутова, как гниду, в один день.

В коридоре Светлана, стоя на коленях перед Шурой Лошагиной, подрезала шинель. Та поворачивалась, то и дело посматривала на подол.

Светлана весело кричала кому-то:

— Книг с собой не берите, я захвачу на всех! Мы там еще над мировоззрением поработаем!

Высокий паренек, подмигивая, играя саблей, лукаво произнес:

— Я зарок себе дал мировоззрения не иметь. Сабелька — вот мое мировоззрение!

Сабли были у многих. Паренек то доставал, то вкладывал саблю в ножны. Почти на всех девушках кожаные куртки, белые повязки с красным крестом, санитарные сумки.

В комитете собрались члены бюро. Вайнер смотрел на всех выжидающе. Мрачковский что-то бубнил Давыдову. Улыбался Толмачев.

— А где же Сыромолотов?

— В типографии.

— Крестинский?

— Дежурит в Совете.

— Жаль, — протянул Иван. — Так вот, товарищи, прошу отпустить меня с верх-исетской первой сотней комиссаром!

— Ты не сошел с ума? — привстал с места Вайнер. — Смотри, и голос каким задорным стал!

Смело и радостно глядел Малышев в глаза товарищам.

— Нет, не сошел, Леонид. Не могу я остаться в городе. Что скажут рабочие и их жены, если я каждый день агитирую на митингах, призываю вступать в рабочие дружины, а потом они пойдут на фронт, а я буду отсиживаться в тылу?

— Город нельзя оголять… Мало нас! Толмачев едет комиссаром алапаевской дружины. Мрачковского отпускаем, да еще ты!

— И все-таки вы меня на этот раз отпустите! На фронте я

нужнее.

Удивилась и испугалась Наташа, увидев мужа в шинели. Грудь перекрещивали скрипучие ремни, на голове серая смушковая шапка. Наташа стала сразу будто меньше ростом, сосредоточеннее.

Иван поглядывал на ее обезображенную фигуру, на лицо, неузнаваемо измененное беременностью. Только глаза остались те же.

— Ты только обязательно гуляй, больше гуляй! Я думаю, что мы недолго.

— Я хотела бы с тобой, Ванюша!

— Мыслимо ли? Помоги собраться. Через час ехать.

Площадь перед вокзалом и перрон заполнены народом: заводы провожали свои дружины. Реяли знамена, стоял веселый гомон, смех, песни.

Дружинники, завидя Малышева, закричали:

— Иван Михайлович, к нам!

— Вон Малышев, ребята!

У передних вагонов плясал Миша Луконин, с прибаутками подбрасывался, ухал:

— Эх, жизнь звонкая!

Около Петра Ермакова стояла чернобровая его жена. Они ненасытно глядели друг на друга.

Наташа невольно подумала:

«А в кружке на Верх-Исетском парням жениться не советовал. Верь ему. Глаз от жены не отведет».

Гармошка, ликуя, играла «Комаринского». Вокруг Миши вилась Светлана, мелко и часто семеня ногами, подкатывалась к нему, вьюном выскальзывала из-под рук.

Малышев почувствовал какое-то беспокойство и не мог понять, откуда оно.

Матери и жены, сгорбись, стояли вокруг. Зажав в глазах слезы, какая-то маленькая высохшая бабенка лихорадочно говорила мужу:

— Будто у тебя три жизни в кармане. Разум-то заячий! А дома — ребятишки…

Рядом обнимались старик с воспаленными глазами и молодой безусый паренек. У старика редкие, как у китайца, усы в уголках губ. Он хрипел:

— Сам бы пошел, да ноги плохо слушают… длинны дороги стали!

— Я этому Дутову мозги выгрызу! — твердил парень.

Костя Вычугов хмуро наказывал Любе:

— Себя соблюдай!

Кто-то из товарищей его утешил:

— Ты не бойся, Костя, мы всем заводом ее караулить будем.

Плеск веселья, смех, хлопки, шутки.

— Не горюй. Я скоро обратно тебе свое сердце привезу…

— Что ты уставилась на меня, как на архангела!..

Беспокойство в сердце Малышева нарастало. Он уже не мог поддерживать разговора с женой, резко обернулся, поймал взгляд Кобякова. Тот ринулся к нему с распростертыми объятиями. Иван, как бы не видя его, повел Наташу в сторону.

— Послушай, как поют! Ах, как поют!

Лицо Наташи будто задымилось. Малышев целовал его, приговаривая:

— Вызови маму. Береги себя. Ой, наверное, и во сне я тебя видеть буду!

— Ты слишком мало спишь, чтобы увидеть меня во сне, — произнесла Наташа, пряча свою боль за улыбкой.

Тихонько посмеялись. Оба взглянули на небо. Оно было полно сверкающих белых барашков.

— По вагонам! — крикнул высокий и бравый Колмогоров, командир сотни.

Миша Луконин, раскрасневшись от пляски, подошел к Малышевым, приподнял шапку и, переполненный радостью и воодушевлением, сказал:

— Извиняюсь. Я ведь, Иван Михайлович, как увидел, что ты с нами, обрадовался: с тобой ведь всяк себя человеком чувствует. Извиняюсь! — Миша ушел.

Иван Михайлович снова посмотрел на жену. Пройдет еще несколько минут, и они расстанутся. Сказал шепотом:

— Видишь? Нельзя мне было оставаться!

XXVII

Поезд отбросил город назад. Дым от паровоза плыл, цепляясь за кусты, беспомощно клонясь к земле.

На каждой остановке, а они были часты, Иван Михайлович шел из вагона в вагон. В теплушках разучивали революционные песни.

В одном из вагонов появился подросток, одетый в лохмотья.

Его изумленно разглядывали.

— Откуда ты вылез?

— Из-под нар… Хоть что делайте… Можете даже расстрелять, а в тылу я не останусь. Я только Ивана Михайловича ждал.

— Чей ты?

— Верх-исетский! — с вызовом ответил парнишка. — Я храбрый!

Его звали Ленька. Ленька Пузанов — один сын у матери-вдовы.

— Да как ты это пальтишко-то надеваешь? Наверное, путаешься в лохмотьях? — спросил Малышев.

— А я нарочно такое надел, чтобы шинель скорее выдали, — искательно глядя на комиссара, заявил парнишка. — И саблю с наганом! — нетерпеливо и восторженно напомнил он.

Неудержимый смех сопровождал каждое его слово.

— Вишь ведь, и губа желобком!

— Да в нагане-то ведь — смерть…

— Так ведь не нам смерть-то, а Дутову!

— Разбирается!

Бойцы начали доставать для парнишки из своих мешков кто белье, кто рубаху, кто штаны.

Парнишка покрякивал от удовольствия.

— Только я вот слышал, что ты, Ленька Пузанов, в партии меньшевиков состоишь, верно ли? — спросил Малышев.

Люди шумно задышали, сдерживая смех. Ленька оторопело посмотрел на всех и протянул:

— Не-ет… Я с Иваном Михайловичем…

На одном полустанке поезд, казалось, увяз. Малышев обошел несколько вагонов.

В углу Миша Луконин, сидя рядом со Светланой, говорил вкрадчиво:

— Мы с тобой отлично в одной упряжке пойдем…

— Спасибо за доверие.

Иван напомнил:

— У девушек есть свой вагон. Здесь тебе, Света, не место.

Та послушно поднялась.

— Пели здесь. Да и Миша звал. Меня на песню потянуло, Иван Михайлович.

Когда девушка вышла, Иван спросил, обращаясь к Михаилу:

— А ты зачем ее все обхаживаешь: не время и не место…

— Знаю, Иван Михайлович. Но ведь надо же и мне кого-то на сердце положить. Ознобила она меня совсем.

В следующем вагоне пожилой рабочий с красными обветренными руками приговаривал, обжигаясь картошкой:

— У меня тело большое, его надо накормить! Садись, Иван Михайлович, с нами поешь.

Рядом сидели Мрачковский и Толмачев, тоже ели картошку.

Малышев присел на полено к печурке.

— Костя, вставай, все комиссары у нас собрались. Чего ты лежишь, корни пускаешь! — глядя с улыбкой на Малышева, рабочий пояснил:

— Курить любит этот Костя! Сунь ему сонному папироску — сосать будет.

Костя Вычугов, поднявшись с нар, тоже подсел к печке.

— Хочу узнать поподробнее, товарищи комиссары, кто такой этот Дутов? Откуда взялся?

— Дай ты людям поесть. Говори сам. Чем больше говоришь, тем меньше есть будешь, — заворчал рабочий с черными руками, утаивая усмешку.

— Ну, что о Дутове рассказать? Кто же он? Избран наказным атаманом Оренбургского войска, — поблескивая очками, начал Толмачев. — В августе участвовал в корниловском заговоре. Временное правительство назначило его особоуполномоченным по заготовке продовольствия в Оренбургской губернии. Заготовку он срывал.

А после Октября поднял кулацкое восстание.

— Так, что, он сам по себе? Захотел и восстание поднял?

— Нет… Еще в ноябре кадеты и эсеры в Оренбурге образовали контрреволюционную организацию. «Комитет спасения Родины и революции» называется. Захватили власть. Работников Советов арестовали. Вот Дутов и кричит, что это созданное им правительство — единственная законная власть по всему оренбургскому казачьему войску, армию создает из казачества и белогвардейцев.

— Ну, мы ему покажем «Комитет спасения России!» Спаситель выискался!

…На остановке из открытой двери одной теплушки кто-то палил из винтовки по соснам, кричал на присмиревших в стороне, у вокзала, женщин.

Подходя, Малышев спросил:

— Что здесь происходит?

— Стреляем! — отозвался хмурый паренек с туповатым плоским лицом.

— Отставить! Встать по форме! — прикрикнул комиссар. — Фамилия?

— Щукин. Верх-исетский я…

— Староста!

В проеме дверей вырос долговязый, без пояса, парень, в папахе, сломанной налево.

— Разоружить Щукина! Внушить, что пугать жителей нам не к лицу И кроме того — патроны надо беречь.

— Есть, товарищ комиссар!

Около вагонов девушек крутились парни, перебрасываясь шутками. Девушки учились накладывать бинт.

— Как настроение? — спросил Иван Михайлович.

— Хорошее!

— Ребята не обижают?

— Нет, они от наших песен ошалели.

Иван поднялся в вагон. В дверь заглянул паренек с наивными голубыми глазами на рыхлом веснушчатом лице:

— Вот поют, Иван Михайлович. Тетерин слушать без слез не может. Вы им прикажите только плясовую петь. Такими голосами только плясовую бы! Тетерин плясовую тоже любит.

— А кто такой Тетерин?

— Да я же, Тетерин-то! Как запоют, волком бы выл!

Девушки хохотали:

— Это он о себе так: Тетерину раз плюнуть, и Дутова нет.

— А не кажется ли Тетерину, что ему в своем вагоне надо быть!

— Не-е, не кажется.

Малышев выпрямился.

— Товарищ Тетерин. Марш в свой вагон!

— Так ведь, Иван Михайлович…

— Товарищ комиссар, а не Иван Михайлович.

Озадаченность парня рассмешила девушек, но они сдержались: так ново, что Иван Михайлович недоволен обычным обращением к нему.

Малышев спросил строго:

— Повторить?

Тетерин скрылся.

На путях Иван встретил Ермакова.

— Надо признать, Захарыч, что наши бойцы приказы выполнять не умеют.

— Научим! В этот вагон не ходи, там сказки рассказывают! — посоветовал Ермаков уже издалека.

«Сказки? Вот как раз я сюда-то и зайду. Любопытно!»

Только комиссар влез в вагон, поезд тронулся. Он рассмеялся:

— Так и ехать теперь мне с вами.

— Садись, Иван Михайлович!

— Сяду и мешать не буду.

— А ты нам никогда не помешаешь. — Саша Медведев освободил для него место. — Ну, так слушайте дальше: положил солдат грош на божницу, полежал, опять спрашивает: «Спишь ли, батюшка?» — «Отлепись ты! Сплю давно. Чего ты опять?» — «Хоть сшивай глаза, не спится: все за грош свой боюсь. Вдруг воры придут!» — И опять думает: «Кокнуть бы тебя, долгогривого. Концы в воду и пузыри вверх». — «Вот прилип! — ворчит поп. — Кому твой грош богатство принесет? У меня вон в кринке на полке на сотни золота лежит — не боюсь. А ты! Еще солдат!»

Саша рассказывал в лицах: надувался, басил — за попа и прищуривался хитренько, повышал голос — за солдата. Бойцы дружно хохотали.

— Поутру проснулся поп — в избе ни солдата, ни золота, а в кринке на донышке солдатский грошик поблескивает, да записка накарябана: «Спасибо, мол, за золото. За двадцать пять лет я его честно заслужил. А ты, поп, еще нахватаешь. Царь-батюшка тебя не оставит!» — Попа чуть кондрашка не хватила. Ударился он в рев. Попадье кричит: «Иди, матушка, с побором: за крестины, за упокой собирай требу». А солдатик пришел в деревню, золото меж бедняками разделил и стал жить-поживать, ума наживать. Ума ему много требуется. Все надо обмозговать: и как на свете жить, как свою власть утвердить, и как Дутова победить».

Иван одобрительно выслушал сказку, долго молчал, а дружинники, как нарочно, смотрели на него, ждали.

— И не только об этом думал солдат, — бросил раздумчиво комиссар.

— А еще о чем?

— Он думал, как военную тайну сохранить, как Красную Армию не опозорить! Мы выиграем, если у нас будет железная дисциплина! — Малышев оглядел всех придирчиво: — А что? У кого дисциплина, тот уж хулиганить, пьянствовать, дебоширить и военную тайну выдавать не будет!

— Ясно. Не беспокойтесь, Иван Михайлович. Военную тайну не выдадим… — заверили ребята в голос.

— Да и голова своя мало кому лишней кажется, — эти слова были встречены одобрительным смехом.

— Я и мокрого в рот не возьму.

— И нельзя: по нашему поведению люди о Советской власти судить будут.

За вагоном раздались выстрелы, впереди поезда, с боков. Поезд остановился.

— Это за мной. Я говорю, пули за мной следом летают… — пошутил кто-то.

На этот раз никто не рассмеялся. Но шутка разрядила наступившее напряжение.

— В чем дело?

Малышев оттянул двери, выпрыгнул в снег. Откуда-то появился Савва Белых.

— Что за стрельба?

— Дутовская конница обстреляла эшелон и скрылась.

Медленно ползет по путям состав. На частых остановках бойцы вступали в разговор с жителями, всем докладывали, что они красные дружинники.

Малышев снова прошел по вагонам, провел беседы о революционной бдительности.

Где помогала сказка, где песня, где просто он говорил о том, как их встретят в станицах и как они должны будут держаться.

— За продукты платить, быть вежливыми, не болтать ни с кем о нашем задании.

В Троицке в штабной вагон пришел высокий казак. Малышев невольно залюбовался им: черные брови вразлет, смоляной чуб свисал из-под серой мерлушковой шапки. Нос прямой, тонкий. Нервные наливные губы под черными усами приветливо улыбались.

— Просим в город дорогих защитников. Я член Совета рабочих и казачьих депутатов. Ильиных моя фамилия. Квартиры мы вам выделили самые лучшие. Только вначале вы нам расскажите, что делается на белом свете. Люд на площади собрался, ждет.

До города три версты шли пешком, таща на себе оружие и снаряжение.

На площади качалась толпа горожан. Из одного двора выкатили телегу вместо трибуны.

Ильиных легко вспрыгнул на нее и громко сказал.

— Товарищи! Сейчас комиссар из Екатеринбурга Иван Михайлович Малышев скажет речь.

Раздались редкие возгласы:

— Послушать желательно..

— Пусть скажет, может, мы не все знаем.

Малышев тоже легко поднялся на телегу. В устремленных на

него глазах разные чувства — дружелюбие и надежда, пытливость, а то и ненависть. Привычно рассказал Малышев о событиях в стране, о двух революциях, о борьбе партий. Когда заговорил о Дутове, толпа колыхнулась. Комиссар понял, что в ней есть и дутовцы.

Ильиных стоял на телеге рядом. Умные глаза его пробегали по толпе.

— Я так думаю, граждане-товарищи, нам нечего бояться. Надо вступать в ряды Красной гвардии, чтобы этого атамана скорее выгнать из наших степей.

Ермакова окружила молодежь: он начал запись в боевые отряды.

Вокруг города поставили заслоны. У железнодорожного моста показался казачий разъезд. Боясь, что взорвут мост, Малышев направил туда молодежную сотню. Дутовцы не приняли бой, рассеялись.

Комиссары и начальники дружно сидели над планом действий, тут же создали центральный штаб отряда, старшим комиссаром которого назначили Малышева.

Ночью поймали диверсанта. Он хотел взорвать вагон Военного совета, оставленный на путях. Пленный дрожал и ничего не мог сказать, кроме того, что он дутовец.

Одет он был в добротный полушубок, в папаху, обут в высокие валенки. Видимо, имел задание на длительное время, в одну ночь не удастся, удастся в другую.

— К членам Военного совета у них особенное внимание, — шутил Малышев.

Вышли из Троицка рано утром. Скрипел под ногами синий снег. Скрипели полозья саней обоза. Молодые бойцы тихо переговаривались, мечтали о боевых трофеях. Слышался возбужденный смешок.

В станицу Берлинскую вошли без единого выстрела. Улицы словно вымерли. Дома наглухо закрыты. Только лениво тявкали собаки.

Так же без боя были заняты еще две станицы.

Несколько бойцов, увидя Малышева, враз закричали:

— Товарищ комиссар, мы решили домой ехать. Что же мы идем-идем уж сколько времени, боев все нет, а дома дел по горло!

— Неужели уедете домой? — спросил Иван. — Вы не понимаете, что Дутов решил силы наши помотать?

Видимо, никому не пришло в голову так объяснить положение. Успокоенные, бойцы замолчали.

Станицы следовали одна за другой. В каждой красногвардейцы-большевики рассыпались по улочкам, входили в

дома, агитировали, проводили митинги, помогли выбрать поселковые Советы из казачьей бедноты.

XXVIII

Как только показывались первые дома очередной станицы, кто-нибудь просил:

— Грянуть бы, товарищ комиссар!

— Гряньте…

— Без вашего голоса не начать…

И все ждали: вскинет комиссар голову, посмотрит на небо и заведет, высоко и чисто.

Вот и сейчас Иван Михайлович затянул:

На зеленом на лужке,
На широком поле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле.

И уже по всем улицам, по всем подворьям разнеслось многоголосо:

При знакомом табуне
Конь гулял на воле.

В станице бойцы прежде всего снимали с заборов объявления Дутова. Под хохот читали:

«Круг объявляется на военном положении. Ожидается большевистский отряд для усмирения казачества».

Дутов пускался на все, чтобы только посеять недоверие к красным. Так он издал приказ о роспуске солдат с явным расчетом ослабить силы красных, внести смуту в умы, расколоть фронт.

Комиссары на митингах разъясняли:

— Дутов объявлен изменником, его приказы исполнению не подлежат. Исполняйте приказы только Совета Народных Комиссаров!

Дутов, обеспокоенный настроением станиц, подбрасывал листовки:

«Мы вначале — казаки, а потом — русские. Нам надо устроить свою казачью федеративную республику.

Идти не с партиями, так как мы, казаки, есть особая ветвь великорусского племени и должны считать себя особой нацией».

Обманутое беднейшее казачество пугливо молчало.

Бойцы писали мелом на заборах, на воротах: «Родной Урал будет красным!» К дулам ружей привязывали красные флажки.

Небо сурово и мутно. Тонкий месяц бледнел на востоке. Черные голые ветки раскачивались. Такой ночью шли по станице Степной, заглядывая в дома, разоружая жителей.

Утром на площади, перед церковью, Миша Луконин развернул гармошку. Началась пляска с гиканием, с посвистом. В окнах зашевелились занавески.

У одного из домов свалены бревна. Из-за них нет-нет и высовывалась голова какой-нибудь девушки и тут же скрывалась. А веселье продолжалось. Саша Медведев устал от пляса, снял папаху, пятерней причесал кудлатую голову.

Неожиданно из-за бревен вышла молодая красивая казачка, бледная от решимости, подошла к Саше и начала шарить пальцами в его волосах.

Из-за бревен торчал теперь добрый десяток голов.

Красногвардейцы прекратили пляску, гармошка стихла.

Саша не мог вырваться из рук девушки, так крепко держала та его голову. Наконец она спросила срывающимся голосом:

— А рога куда девал? Нам говорили верные люди, что вы с рогами…

Саша отбросил ее руки от себя, сконфузился. Красногвардейцы весело захохотали.

Девушка побежала, но Ермаков, смеясь, остановил ее.

— Давай-ка, красавица, зови сюда всех из-за бревен-то!

Скоро красногвардейцы плясали уже вместе с молодыми станичницами.

Смех над «Сашиными рогами» не прекращался. Иван думал: «Темнота! Зло-то какое!»

Какая-то молодка рассказывала у колодца бабам:

— Гли-ка, большевики-то люди как люди! А нам говорили, что у них — рога и хвосты.

В Степной задержались на сутки. Митинги возникали стихийно, на каждом шагу дружинников окружали станичники и начинали разговор. Жаловались: хулиганили дутовцы, портили девок, угоняли скот, отнимали хлеб.

Под штаб отвели целую половину большого дома Две женщины домывали пол, увидя входящих командиров, опустили подолы, степенно поздоровались и быстро скрылись. Тотчас же в

штаб привели дружинников Щукина и Тетерина. Они напились у вдовы. Сама вдова, молодая разбитная бабенка, шла следом и быстро говорила:

— Пришли ето они ко мне, первым делом самогонки попросили. Выдала я им самогонку, выпили, приставать ко мне начали, да так-то напористо, что уж впору и свалить им меня. Я, конечно, обороняюсь. Все рожи им расцарапала, а уж силы-то мои убывают. Мальчонку моего избили. А тут соседка зашла. Оставили они меня, принялись окна бить. Все до капельки выхлестали.

Щукин рвал шапку нетрезвыми руками. Тетерин — в папахе, низко надвинутой на лоб. Рыхлое лицо его тряслось. Он бормотал, дыша перегаром и тоской:

— Неужто… расстреляют?

Их увели.

Дружинники на улице кричали, окружив дебоширов:

— Да ведь вы — наши! Всю жизнь хлеб без приварка ели!

— Варнаки! Не головой, а шапками думали!

— От вас уж сейчас смердит!

— Настегались! Заду не поднимают!

Малышев до боли стиснул запекшийся рот, обвиняя себя: «Прозевал… Прозевал!»

А ребята все зубоскалили над дебоширами.

— Топить в реке вас не будем, воду-то скотина пьет.

— Придется ведь их расстреливать…

— Молчи, борона худая. Разве свои своих бьют?

— А обязательство?

— Како еще обязательство! Ох, сердце зябнет!

В расстрел никто не верил. Савва Белых подошел к дебоширам, пошутил простодушно:

— Еще дышите? Пришел мерку снять для ваших гробов.

А члены Военного совета отряда и трибунала и командиры дружин уже собирались, нахмуренные, удрученные.

Малышев огорченно думал, глядя на них: «Вот они понесут через всю жизнь расстрел своих товарищей» Мрачковский — хоть и бледен, а как-то необычно надменен и сух. Ермаков Петр глядел на всех ясными глазами. Этот выполнит все, что нужно для революции. Но и он бледен. У Медведева Саши брови подняты в горестном недоумении.

В глубине комнаты стояли обвиняемые. И у них такие же молодые и бледные лица, так же лихорадочно горели глаза. Допросили патруль. Вдова смирненько сидела в углу. Члены совета говорили один за другим:

— Опозорили отряд, опозорили пролетарскую революцию.

Расстрелять.

— Играют на руку врагу, дают пищу для пересудов. Теперь пойдут о нас разные слухи. Расстрелять.

— Губят Советскую власть. Им не место в наших рядах. Расстрелять.

Иван высказал свое мнение первым, первым произнес это слово: расстрелять.

Он ненавидел этих нашкодивших ребят, ненавидел эту разбитную бабу, ненавидел себя. Хотелось умереть, чтобы только всего этого не случилось. Он знал, что малейшая уступка, замена смерти любым другим наказанием расшатает отряд. Нельзя. Нельзя. Цель одна — революция. Суд продолжался.

— Ребенка-то за что избили? Расстрел.

Бабенка отчаянным голосом закричала:

— Это что вы удумали: расстрелять да расстрелять! Шуточки! — два таких гриба с корнем вырвать! Ни за что парней обвиноватили!

— Каждый из них — человек. Даже тогда, когда выпьет, он должен быть человеком, каждый час, каждую минуту, — ответил ей Малышев.

Однако вдова билась и выкрикивала: — Да у нас каженный праздник стекла бьют! А самогонку — недомерки — и те хлещут! А я… Над вдовой каждый мужик — барин! Проща-аю! Не убивайте парней.

Визжащую, ее вывели из штаба.

Где-то ветер с маху хлопал дверью. И чудилось Малышеву, что и хлопки эти тоже утверждали.

— Расстрелять! Расстрелять!

Тетерин судорожно, громко задышал. И словно удивился:

— Неужели так? Да ведь наша власть-то! Что хочу, то и делаю!

«Расстрелять!» Слово облетело отряд в минуту.

Какой-то парень немедленно вылил за углом в пожухлый снег самогонку, только что выменянную на шарф.

Притих отряд. Никто не разговаривал, не глядел в глаза другому. Все чувствовали какую-то свою вину.

Малышев привык брать людей такими, какие они есть, — где свет, где тень. И этих ребят можно было сделать настоящими. Они просто еще не умели предвидеть последствий своих поступков.

Прозрачная ночь кончалась, а ему приходится быть жестоким. Может быть, сейчас у него уже появился ребенок, а ему приходится быть жестоким У него есть Наташа, женщина с ясными глазами и ясным сердцем, а ему приходится быть

жестоким!

Всю ночь Иван ходил по штабу и шептал искусанными губами: «Говорили, что каждый должен быть человеком. Каждый и будет человеком все больше. Это зависит от нас, от нашей партии… Только высокая культура и революционная идейность вытеснят невежество проклятую водку. Нужны книги, клубы, театры. Нужна возвышающая музыка… А сейчас — расстрелять. Так нужно».

Он всегда был чужд паники и истерики. И это его настроение было не паникой, нет Это был стыд за людей, за себя.

«И кончим мы Дутова. И еще наскакивать на нас будут — кончим. Силы у нас есть. У нас нет культуры. Народ доведен до отупения.. «Да ведь наша власть! Что хочу, то и делаю!» Нет! Наша власть — это не анархия! Революция будет продолжаться! Революция продлится долго!»

Стояла утомительная синь и тишина, старая исковерканная луна обморочным светом заливала окна, поблескивали холодно звезды.

Прогремел в отдалении залп.

В окно глядел унылый пейзаж: овраги, холмы, степь. Редкие белые березы, как в кружеве, неподвижны, будто боялись шевельнуть веткой. Снег уже чуть-чуть стал розоветь.

На фоне серого неба, скрипя полозьями, брела гнедая лошадь, запряженная в сани-розвальни. На сене — труп человека, молодого красавца. Серая мерлушковая шапка откатилась на крыло розвальней.

Бойцы окружили сани. Человека сразу же опознали: Ильиных, член Троицкого Совета, который проводил митинг.

Руки и ноги его переломлены, голова пробита.

Все сняли шапки.

Иван Михайлович оглядел окружавших его людей тяжелым взглядом, спросил глухо:

— Вы понимаете, что мы не можем быть добрыми ни к врагу, ни к себе?

— Понимаем!

— Есть еще желающие уехать домой?

— Не-ет!

— Не поедем! Мстить!

— Мстить!

XXIX

Отряды двигались пожухлыми снегами. Их встречали тревожные слухи:

— Телефонные провода дутовцы оборвали… напали…

— Поезд с хлебом… собрали для питерских рабочих… разорили.

— У Дутова собраны большие силы… Не одолеть их.

В одной из станиц бородатый крестьянин в рваном полушубке все лез к Малышеву и кричал:

— Значит, по-твоему, бедняки, вроде меня, устроят всем мир. А как это сделать, скажи мне, мил-человек? Ведь уж сколь раз такой мир хотели сделать!

— Каждая попытка учит!

— Верно! Так пока научит — все мы кровью изойдем!

Неожиданно с колокольни раздалась пулеметная очередь.

Из переулков выскочили верховые казаки.

Красногвардейцы открыли огонь. Их снаряды рвались в гуще белоказачьей конницы. Верх-исетцы закричали «ура».

Цокали по стенам домов пули. Звенели окна.

Красногвардейцы зарывались в снег. Ленька Пузанов, лежа, судорожно вцепился пальцами в спусковой крючок. Он был разочарован, что стрельба утихает: дутовцы, оставив на снегу убитых, скрылись.

Билась раненая лошадь.

— Они нарочно выматывают наши силы, время и патроны у нас съедают, — переговаривались дружинники. Иные задорно кивали друг другу, упоенные победой.

Малышев понимал, что эта короткая схватка — не бой, но и он поддался общему настроению.

Теперь все чаще вспыхивали короткие бои с отдельными группами дутовцев. Бои самые неожиданные. Казалось, за домами, за косяками леса — всюду враг. Стреляли с колоколен, с чердаков, из-за сугробов. А боеприпасов в отряде оставалось все меньше, все более мрачнели лица бойцов. Люди рвались в бой. А крупных боев Дутов не принимал.

Разведка донесла, что связь между Челябинском и Троицком прервана. Красные оказались в окружении. Отряд повернул обратно к Троицку. Пулеметы везли на лыжах по блестящему полю. Слышались редкие выстрелы.

Мартовские ветры коварны. То нанесут весеннее тепло, снег начинает жухнуть и оседать, то ударят заморозками, метелями.

Темнело. Впереди — мост через Черную речку, за ним крутой

берег, под которым — дутовцы.

Красногвардейцы цепью спустились к мосту, прижимаясь к сугробам от пуль: спешили отрезать врагам путь. Ермаков кричал:

— Держитесь, братцы!

И снова пальба без разбору с той и другой стороны. Визжали и матерились бойцы. Лошади кусались и по-человечьи стонали, храпели и метались.

Верх-исетские парни бежали впереди, увлекая на врагов остальных.

Пронесли убитую сестру. В лице ее недоумение, глубоко врезались складки рта.

Убили командира сотни Колмогорова, ранили его помощника.

— Окружили нас! Окружили! — несся юношеский голос, дрожа от животного страха. Несколько человек повернули назад.

— Замри, не сей труса…

Шура Лошагина, отбрасывая за спину санитарную сумку, звонко крикнула:

— Сотня, за мной! — и ринулась вперед, увлекая за собой бойцов. Парни, которые только что в панике отступили, вернулись в строй.

Уже три часа длился бой.

Река беззащитна, открыта. По льду бежали бойцы, чтобы скрыться от огня под крутизной. Чернели на снегу убитые люди и лошади. Трупы быстро заносило снегом. Малышев впереди кричал:

— За мной! Вперед!

Ветер хлестал, сваливал с ног, ослеплял. А люди, пробираясь вперед, гнали дутовцев из-под каменного берега. Те бежали, бросая оружие. Грохотали гранаты. Пулеметы били, не переставая. Враг отступал.

Везли на лошадях, несли на шинелях, на носилках из винтовок раненых и убитых. Девушки ползали по снегу, тянули раненых волоком, перевязывали.

Малышеву казалось все, что смутно видит он сквозь сетку чистого снега, обрывки сна. Они наплывали и уносились Пронесли раненого Петра Ермакова, забинтованного, как куклу, убитую Светлану. Михаил брел рядом, спрашивал ее:

— Как же так?.. А может, ты мне что-то сказала перед смертью? — он ловил снег и тер холодеющее дорогое лицо. Голова Светланы болталась из стороны в сторону. В глазницах накапливался снег.

А метель все усиливалась. Уже не видны лица, только смутно темнели лошади да раздавался крик.

— Э-гей! Дорогу не терять!

Глаза болели от напряжения. Слышался женский плач: медсестра оплакивала друга.

Малышева отыскал среди бредущих людей связной.

— Товарищ старший комиссар, прибыл эшелон мадьяр под командованием Блюхера. Ждут вас в Троицке.

— Будем! — ответил Малышев и, склонившись над Ермаковым, стал поить его из фляги водой.

— Как, друг?

Петр Захарович сказал, скрежеща зубами от боли:

— О жениных руках тоскую, а все-таки ей не говорите что я ранен, зачем ее расстраивать?.. И не вздумай меня в Екатеринбург отправлять, понял? Хочу здесь ждать кончину Дутова. Иди, Иван, говорят, подмога нам. Иди встречай!

Ермакова окружили верх-исетские ребята. А может быть то не они? Уж очень взрослы и серьезны стали!

В Троицке ждали письма от родных. Почти все они писались на шершавой бумаге разорванных кульков, на старых измятых квитанциях. Бумаги нормальной не было. К некоторым бойцам приехали матери, жены.

Люба Вычугова все в том же клетчатом сером платке. Она нашла Костю и, заглядывая ему в лицо, допытывалась:

— А я к тебе приехала, скажи, хорошо?

— Смотри-ка, ведь это ты? — удивился тот. — Баба моя приехала!..

— Ну, бери нагайку да угощай! — этот чей-то совет вызвал общее веселье. Но снова помрачнели бойцы, услышав:

— Мне пишут, что денег на меня не дают.

— Домой придется ехать!

— Публика вы, будто на прогулку вышли. Публика, а не бойцы! — бросил Малышев. — Неужели у кого хватит совести уехать?!

— Да нет… чего уж там… с заработком только уладить надо…

— Уладим!

Малышев прошел дальше. Где-то начали песню.

Вздумал Турка воевать
Да на Рассеюшку пойти…

Иван увидел вдруг Сыромолотова, побежал, дурачась, схватил его в широкие объятия.

— Хорошо, Федич, что приехал, друг!

— Тихо ты, комиссар!

Вместе они пошли по городу.

У домов и хибар с золотушными заборами сидели старые казашки в грязных повязках; скакали верховые казахи в бараньих остроконечных шапках. Пронзительно ревели верблюды.

Многие из бойцов впервые видели эти двугорбые чудища с добродушными глазами и подняли улюлюканье и удивились тому, что верблюды не шелохнулись, не испугались, только, как бы соревнуясь, начали реветь громче.

Сыромолотов приехал, чтобы отозвать в Екатеринбург часть членов Союза молодежи: город оголен, не хватает своих людей.

Иван рассказывал:

— Обстановка, значит, такая: штаб Дутова в Верхне-Уральске. Вокруг Троицка казачьи станицы. Земельные наделы на казачью душу большие. Поселения редкие. Много украинцев. Они арендовали у казаков землю.

— Знаю: есть станицы и за Дутова, — вставил Сыромолотов. — Я уже написал воззвание к казакам. Разъясняю, что готовит им Дутов и что такое Советская власть.

Федич привез Малышеву письмо от матери. Строчки прыгали, долго не осмысливались слова.

Один боец, стоя у завалины, с завистью следил за ним. «Наверное, письма не получил…» — отметил Малышев и спрятал конверт в карман.

— У части семейных большая тяга домой, — рассеянно продолжал он. — Большое разложение внесли полученные с мест письма и приехавшие жены… С такой армией нельзя вести правильной войны, можно проделывать только военные гастроли.

Сыромолотов насмешливо протянул:

— Да уж дочитай ты письмо-то, вижу ведь, маешься!

В каждом обозе кто-то полушепотом читал письмо окружившим его товарищам.

Слышались голоса:

— Ломай конверт-то скорей!

— …Курносый ты придурок! Куда тебя занесло? — Это говорила мать Леньки Пузанова, сидя рядом с сыном на завалинке.

Да, и к Леньке приехала мать.

Он глядел на нее беззащитными глазами, уши его еще больше торчали, оттянутые шапкой.

— Отощал я.

Женщина, нервно мигая, говорила:

— Да вот поешь, привезла я тебе… — Она скорбно смотрела,

как сын уплетал какие-то лепешки. — Глянется тебе здесь? В бою-то не осрамился?

Ленька оглянулся.

— Нет!

— Под пулю-то не лезь. В своем ведь уме-то.

— А что, пусть другие лезут? Я стрелять знаешь как научился?

— Страшно, небось?

— А я смерти не боюсь и угроз не боюсь…

— Не кожился зря… Нахватался слов-то всяких. Наверное, и матерные слова знаешь?

Глаза Леньки воровато метнулись в сторону.

— Я домой не вернусь.

— Это как так?

— Я воевать хочу. Я боюсь, как бы война не кончилась!

В штабной квартире в углу спал Савва Белых. Около него лежала сабля. Серая кошка обнюхивала ее.

Малышев начал читать письмо. Пишет мать. Она уже живет у них. Помогает, нянчит внучку. Значит, родилась дочь. Нина…

— Здравствуй, крошка моя!

Иван снова повторил про себя:

«Здравствуй, крошка! Здравствуй, Нина! Я спокоен и за тебя, и за жену, если с вами мама. Наверное, совсем старенькая стала».

— …Дружно вы с дутовцами живете: вы стреляете, они шею подставляют! — смеялся Блюхер, войдя в штаб. — Я, комиссар, баньку заказал тут вот рядом, помоюсь пойду, а там мы с тобой над картой посидим, наметим свой бросок.

Малышев много слышал об этом отважном человеке, но не знал, что он так прост.

— Ты, комиссар, когда-нибудь спишь? — спросил Блюхер.

— Как уснешь? То донесения, то телеграммы… Раненых надо навестить, — охотно ответил Малышев.

— Слышал, слышал… Двадцать два часа на ногах, со всеми шутишь, а сам вон — зубы да нос…

Иван, смеясь, сообщил:

— А у меня дочь родилась, пока я воюю!

— Да что ты? — удивился Блюхер.

— Ниной звать.

— А у меня сынок растет…

Вошел в вагон Сыромолотов, протянул Ивану листок бумаги:

— Утверждаешь, комиссар?

То были стихи. Малышев вслух прочел:

У Черной речки ухают снаряды,

Белеет поле… В поле бой идет…
Друзья мои — рабочие отряды —
Выносят бой у дутовской засады.
Синеет день. Стрекочет пулемет.
Оставив дом, семью, работу,
Товарищ-коммунист с винтовкою в руках
Наносит черному змеиному оплоту
Ударом за удар, врага сломив во прах!
О, наш удар могуч! И власть труда безмерна.
В рабочем сердце кровь здорова и сильна.
Пускай юлят враги бесчестно, лицемерно…
Пускай! Мы бьем и целим верно:
С горячим сердцем мысль крепка и холодна.
У Черной речки ухают снаряды.
Белеет поле… В поле бой идет…
Друзья мои — рабочие отряды —
Выносят бой у дутовской засады…
Идет Заря — труда могучего восход!

— Молодец, Федич…

— Ай же, какой подарок бойцам! — воскликнул Блюхер. — Надо это стихотворение… до каждого довести, пусть знают…

Несколько дней Блюхер с комиссарами отрядов сидел над планом разгрома Дутова.

Красногвардейцы делали вылазки на станицы. Каждый день пригоняли табуны лошадей, обозы с оружием, пленных. Учились верховой езде, смеялись, шумели:

— Эта лошадка тебя не вынесет, мала.

— А мою-то, мою посмотри!

Лошадей чистили, вплетали в гривы красные ленты.

В штаб почти вполз Ленька, побледневший, потный и счастливый.

— Все равно научусь верхом ездить! — пробормотал он, свалился у двери и мгновенно, сломленный усталостью, уснул.

Блюхер громко хохотал:

— Видать, попробовал верхом ездить!

Дележ лошадей на улице продолжался.

— Товарищи командиры, — кричали красногвардейцы, — принимайте подарок!

Блюхер и Малышев вышли из штаба. Дружинники подвели к ним группу лошадей:

— Выбирайте!

Лошади были гладкие, выхоленные, с лоснящимися боками.

Савва Белых, забирая у товарищей повод, сказал:

— Вот этого коня возьми, Иван Михайлович.

Рыжий конь пугливо вздрагивал, вытягивая голову, упирался.

Малышев поймал на себе ореховый глаз рыжей лошади. Дом. Верхотурье. Отец. Купание в реке и веселые брызги. Детство. Только ноги у домашнего коня были мохнатые, а у этого тонкие, нервные.

— Вот его…

Савва разочарованно развел руками.

— А умеешь ли ездить, Иван Михайлович?

Тот немедленно вскочил на коня и полетел по сумеречной улице.

Конь был послушен ему, резв. Дома казались под снегом сахарными, крыши и дороги сверкали. Не хотелось думать о войне. Детство. Иногда отец позволял поездить на Рыжике. Как и тогда, теперь казалось, что конь отделяется от него, убегает, а он остается на месте, точно плывет, борясь с волной.

…Весна помогала. По утрам дорога еще потрескивала после заморозка. У бойцов улучшилось настроение, чаще звучали песни. Степь, голая еще, покрытая невысокими холмами, иссечена мелкими речками. Под ногами ломалась и сухо шумела прошлогодняя трава.

Савва принес флягу березового сока. Комиссар пил щурясь от удовольствия:

— Ну, я как живой воды напился. Только вы глубоких надрезов не делайте, а то березы погибнут!

— Мы еще березовки и Петру Захарычу отнесем.

— Обязательно!

Разбитые казаки сдавали оружие, патроны, выдавали своих главарей. Дутов осторожно уводил свою банду дальше. Однако короткие стычки все-таки были: под станицей Бриены у Дутова отрезали и разбили хвост арьергарда и вновь преследовали его. Улицы станиц оглашались бабьим воем.

Отряды красногвардейцев разошлись, чтобы преследовать дутовцев по всей степи.

Верхне-Уральск освободил Блюхер и гнал Дутова в глубь степей, приказав комиссарам с дружинами вернуться в Екатеринбург.

…Перрон и вокзальная площадь Екатеринбурга забиты народом.

Первые трофеи: пулеметы, сабли, револьверы, винтовки, воинское снаряжение, сбрую — все вынесли, а главное — лошадей, целый табун лошадей торжественно провели мимо

работников Уралсовета: принимайте, хозяева!

…В руках встречающих приспущены флаги. Кумачом обиты гробы. Беспокойной группой люди сбились на платформе.

Женщина, увешенная детьми, как гроздьями, пробиралась вперед. Надломлен шаг. Глаза горят мукой.

Поймавшись за край гроба, шла старуха с распахнутым в немом крике ртом.

Обняв жену, солдат рассказывал о своих подвигах:

— От моего железа трое пали.

Сердце Ивана Михайловича ныло от жалости и от неистовой судорожной ненависти к врагу: «Что было бы со мной, если бы я не поехал?!»

Мелькнул Вайнер, сжатый толпой. Красный от натуги, он махнул другу рукой, что-то крича.

Пробраться к нему было невозможно.

В толпе сверкнули родные, теплом обдавшие глаза Наташи.

Убитых несли на руках через весь город. Пели революционные песни. Склоненные знамена. Венки, венки. Трещали выстрелы над свежими могилами.

Скорбное молчание наступило после речей. Долгое молчание, словно у каждого стоящего здесь погиб сын.

По пути к дому Малышев увидел спящего у забора Кобякова. Белые руки неуклюже и беспомощно раскинуты. Люди с равнодушным пренебрежением проходили мимо.

Около Кобякова на сухой земле понуро сидела Аглая Петровна. Иван узнал фоминскую учительницу, хоть из-под шляпки на висках выглядывала уже седина и у губ лежали скорбные складки.

«Эва! Нашли друг друга!» — подумал Иван и остановился. Женщина не подняла головы.

Иван присел рядом на сухую землю, потряс Кобякова за плечо. Тот замычал:

— Оставь, Аглая… к черту. Победители… явились… Сожрут…

С непреодолимым отвращением Малышев оставил пьяницу с его подругой и ушел, не оглядываясь. А в голове все носились невеселые мысли: «Нашли друг друга! Собирается воронье».

…Первой открыла Ивану двери квартиры мать. Он не видел ее несколько лет. Она стала совсем старенькой, ссохшейся. Без слез припала к сыну и вздохнула. Жена похудела, кожа на щеках пожелтела, но худоба не портила лица, светившегося каким-то внутренним светом. На вытянутых руках поднесла ему дочь.

— Твоя Нина.

Молча он приподнял пеленку. Девочке уже полтора месяца, а

лицо, все еще сморщенное, глаза глядят бессмысленно.

— А голос у нее есть?

— Подожди, услышишь, — пригрозила Наташа.

Осторожно взял он дорогой сверток и пошел по комнате.

«Если бы знала, девочка моя, что я видел, что я делал… Придется мне все рассказать тебе… Придется рассказать и о том, как я подписал смертный приговор двум нашим ребятам… И это было самое страшное в моей жизни. Но иначе нельзя, пойми… Матери и бабушке мы с тобой об этом не скажем. Мы одни с тобой будем это знать. Ты да я».

Наташа с тревогой наблюдала за мужем.

— Как хорошо, что ты… — она не договорила.

Он гневно обернулся:

— Что я жив?

Наташа смешалась, не поняв его гнева, смолкла, посмотрела на свекровь. «Тяжело ему», — словно ответила глазами та.

Наташа подумала: «Без беды и герой на рождается!»

И будто подтверждая это, Иван Михайлович сказал:

— Ах, как люди-то чеканятся, мама, Натаха, когда трудно…

Наташа поглядела на мужа виновато. Он ответил ей вымученной улыбкой.

— Говори.

Жарко дыша ему в лицо, Наташа сообщила:

— Моя мама выкрала дочку… окрестила в церкви.

И случилось то, что должно было случиться, чего так ждала она. На минуту мелькнуло прежнее: чуткие глаза, улыбчивые губы. Ну да! Он решил, что ей нужна его помощь. Теперь он снова почувствовал себя дома: он нужен и здесь. Подошел, положил ей на плечо твердую руку.

— То-то у тебя щеки выалели.

Заплакал ребенок.

— Расхвалил-таки! — Наташа взяла дочку из рук мужа, села, открыла грудь.

Иван все продолжал ходить вокруг стола. Ребенок насосался, потяжелел.

Малышев остановился, огляделся вокруг и сказал прежним, родным голосом:

— А ведь я дома! — и рассмеялся.

— Ты, наверное, и петь разучился!

Он сел рядом.

— Мы еще с тобой, Натаха-птаха, попоем. Песен так много хороших. Всю жизнь петь будем! — голос его задрожал он нежности. Помолчав, Иван добавил: — Петь и воевать.

— Но ведь кончилось же все! — вставила Анна Андреевна.

— Считайте, только началось! Но и потом… Когда кончится кровопролитие, нам, большевикам, придется долго воевать. Всю жизнь.

— Не понимаю.

— Поймешь. Ах, столько зла на земле. И самое главное, знаете, какое? Не враги открытые, нет. С ними мы-таки справимся. Самое страшное зло — отсталость, темнота.

XXX

Малышев не сказал жене и матери, что воспользоваться предоставленным ему отпуском не может: новая беда тревожила большевиков: белочехи заняли Челябинск и с боями двигались на Курган, на Екатеринбург.

Хохряков создал особый красногвардейский отряд в триста человек и направился с ним в Тюмень. Гарнизоны Екатеринбурга были приведены в боевую готовность.

Малышев, назначенный командующим Златоусто-Челябинского фронта, встретил в отрядах знакомых по дутовскому походу.

Девушки-добровольцы из Союза молодежи шумели вокруг него:

— Иван Михайлович всегда с нами!

Здесь и Ленька Пузанов. Но теперь он ехал не крадучись под нарами, а открыто, независимо бродил между бойцов.

На каждой остановке бойцы выскакивали из вагонов, углублялись в лес. Девушки собирали цветы. Миша Луконин все уединялся: прильнет к земле где-нибудь в холодке, недалеко от станции, и лежит.

Штаб войск Златоусто-Челябинского фронта — на станции Златоуст в служебном вагоне. Командных кадров недостает: Малышеву пришлось быть комиссаром и командующим.

Скачут, скачут конники к штабу. Их двое. Лошади в мыле, без седел. Малышев помог всадникам взобраться в вагон: еле двигались от долгой езды. В бородах видны только носы да глаза.

— Я вот — Дмитрюк… А он — Пикунов Степан… — начал один. — Из села Рождественского мы.

— Это в шестидесяти верстах от Челябинска, — вставил Пикунов.

В Пикунове почудились Малышеву знакомые черты: вдавленный лоб, впалые тонкие губы, в круглых глазах — ум, осторожность. Напрягая память, командир не сводил с него глаз.

Пикунов продолжал:

— Я-то сам из Златоуста. С работы выгнали, переселился к жениной родне. За Советскую власть мы, все село у нас за Советскую власть! Жили, забитые и голодные, сердце да слезы. После Октября выгнали из Советов кулаков, разогнали волостное правление. Бедняки и фронтовики — вот наша сила была. А потом мы обложили кулаков заданием…

— Чтобы помощь оказать семьям погибших фронтовиков… А тут — чехи!

— С утра до ночи митинги, чтобы знали, чего белые банды добиваются… что они сделают и с нами, коли удержатся! Ревком создали, добровольцев начали принимать, коней мобилизовали.

— Со всего Южного Урала добровольческие отряды — к нам. Два партизанских отряда сколотили.

— Послали конников, чтобы с вами соединиться, а они исчезли. Нет их нигде. А пешие-то партизаны вот с нами.

Живые, беспокойные глаза мужиков с упорством разглядывали Малышева. Он спросил:

— Каково состояние отряда? Хорошо людей разместили?

— Да в бой рвутся! Ненавистью горят! А разместились? Так сейчас под любым кустом — постель.

Нет, определенно встречал Иван этого человека, видел этот вдавленный лоб, слышал этот голос. Но где?

— Вот смотрите, — развернул он перед мужиками на столе карту. — Екатеринбургское и Златоустовское направления друг от друга оторваны. Мы должны соединить эти два участка, иначе враги могут свободно перебрасывать свои силы с одного направления на другое, а мы об этом и знать не будем. Хорошо бы в этот треугольник Екатеринбург — Челябинск — Златоуст бросить подвижную группу, которая сообщала бы нам о каждом перемещении врага, о настроении войск и населения в тылу и держала бы связь.

— А где ей становиться? — спросил Пикунов.

— Лучше около вашего села. Там узел дорог. Вот вы и возьмите на себя это… Подберите из своих партизан человек пятнадцать, продумайте маршрут. Завтра доложите.

— Сделаем! Верьте нам, товарищ командующий.

И вдруг вспомнил Иван Михайлович звонкий майский день, политического, вышедшего из тюрьмы, разговор его с отцом. Вспомнил все: задубевшие, в ссадинах, ноги арестанта, он, Иван, сбрасывает с себя новые сапоги «на вырост» и протягивает их арестанту, и ту радость, которая охватила намучившегося человека, и гневно вздернутые брови отца. Командир рассмеялся.

— Вот здорово!

Мужики переглянулись. Пикунов повторил:

— Говорю, верь нам, командующий.

— Верю, верю. Значит, мои сапоги тебя с правильной тропки не свели? Здорово?

Долго Пикунов смотрел на командира. Только когда тот напомнил о Верхотурье, всхлопнул руками:

— Да неужто это ты, тот мальчишка востроглазый? Уж как ты выручил меня тогда!

Исполненные ответственности, мужики ушли. Маленький

отряд партизан покинул Златоуст.

На осине заливисто щебетали малиновки, и точно от их нежного свиста листья дерева дрожали. Вдалеке раздельно куковали кукушки. Готовая ко сну повилика свертывала листья. Видно озерцо. У быстрины одиноко качался селезень в брачном наряде. Мир неба и воды.

С затаенным дыханием слушал Иван Михайлович шорохи растрепанной травы. Садилась на землю роса. Пчелы спешили укрыться от нее, чтобы не отяжелели крылья. Солнце скрылось за дальней сопкой. В осоке звенели комары, трещали кузнечики. Над болотом поднимался туман. Отчетливо, вот здесь, рядом, всплыло перед глазами командира Верхотурье, детство, седой отец, песенная мать…

В перерывы между боями бойцы учились прицельной стрельбе.

Малышев присутствовал на занятиях, наблюдал за ходом обучения.

А то направлялся проверять посты. В лесу пылали костры. Кто-то бросил в огонь желтую сосновую корягу. Она затрещала, обнялась с огнем. Яркий свет отогнал темноту и запрыгал на смуглых лицах. Доносились звучный хохот, песни. А эхо в лесу откликалось и на смех, и на песню.

«Как Кликун-Камень… Вайнера бы сюда, только без войны. Посадить его на кумыс, пусть лечится!»

Спокойную ясную тишину нарушил нарастающий стук.

К станции подходил поезд.

Ехала на фронт надеждинская рота. Бойцы на полустанке перемешались, здоровались. Послышался среди шума знакомый Малышеву говорок:

— Дутова добивали. Ему стервятник, наверное, и глаза уже выклевал! Теперь будем беляков бить…

Ну конечно: Немцов Семен! Все тот же большеголовый, плечистый зубоскал с надломленными бровями, только волосы поредели, да в глазах появился суровый блеск.

— Здорово, земляк!

Немцов долго всматривался в статного военного, наконец, радостно привскочил.

— Здравствуй, Иван Михайлович! — гаркнул он и, стукнув каблуками, схватил Малышева за плечи. — Ты что тут делаешь?

— Командую.

— Ну, гора свой вес знает.

— А где Стеша?

Немцов приосанился:

— Меня в Надеждинске ждет. Сына растит.

— Здорово!

— Пропускай нас, друг. Дальше следуем. Поговорили бы с тобой, да, авось, увидимся еще.

Поезд пропустили. Паровоз выбросил в обе стороны пар, будто распахнул белую шубу. Багровый свет нового дня прорезал небо, как рана.

Две встречи. Всколыхнули они прошлое, разволновали родством с людьми. Казалось, снова ведет молодой учитель Малышев в лес первых большевиков села Фоминки, снова с Немцовым прячут они литературу. И столько вопросов встало, которые надо бы выяснить: где Дашутка-сирота? жив ли самодур Кислов? как живут браться Кочевы?

…Выбивали беляков из поселка, они за спиной красных отрядов сразу поднимали мятежи, жгли дома Советов, убивали большевиков. Перерезали телеграфную линию между Златоустом и Уфой. Так было на Бакальском руднике, на Саткинском заводе.

Преследовали их на конях.

Беспорядочно отстреливались, согнувшись, прячась за случайные прикрытия, белые бежали к мосту. «Максим» вдогонку посылал одну очередь за другой.

Сырые клубы дыма от шрапнельных разрывов уплывали в редкие кусты. Хлестали пули.

Рыжик нес командующего уверенно, красиво подняв голову.

Взрыв страшной силы оглушил Малышева. Огнем вспыхнула земля. Заржав, конь упал вначале на колени, затем на бок, пытаясь подняться, тихо застонал.

Еле высвободив из-под него ногу, Иван Михайлович приподнял морду коня. Изо рта тонкой струйкой текла кровь. Ореховые глаза уже начали мутнеть.

— Убили, гады! Рыжик! Рыжик!

Косые лучи солнца слепили и жгли.

Медленно, прихрамывая, опираясь на винтовку, командующий направился вслед отряду, поминутно оглядываясь. От струящегося знойного марева казалось, что Рыжик шевелился.

Наступила напряженная, полная ожидания тишина. Люди шли и шли по сухой земле. «Упасть и уснуть, уснуть… Сколько я ночей на спал?» — пронеслось в голове Малышева.

Придорожные кусты, казалось, оторвались от земли и плыли, кружась, опоясывая отряд. От этого их кружения рябило в глазах. Плыли носилки с ранеными и убитыми. Кто убитые? Кто раненые? Все было как в тумане, непрочно и шатко. «Не упасть бы… не упасть…»

Усилием воли Малышев опередил отряд. «Чтобы не думали,

что сдал… Чтобы не думали…»

Деревня Куваши ничем не отличалась от других деревень Южного Урала. Только как-то особенно отчужденны и непроницаемы были люди. Но Малышев верил: пусть хоть один человек что-то вынесет из встречи с красными, и это будет победой.

— Крестьяне! Вас запугали и вас обманывают. Верьте только большевистской партии и Советской власти! Они принесут вам волю и землю. Только они освободят вас от кулака-мироеда. Боритесь за Советскую власть! Вступайте в ряды партии большевиков!

Стоящий вблизи безбородый мужик с красными кроличьими глазами все время покусывал свой огромный кулак. Неожиданно он спросил:

— Это в которую партию? Это в ту, в которой бабы общие будут?

— Не верьте этому, мужики!

— Ваша революция в деревнях-то все заборы разобрала!

Контузия и бессонница давали себя знать. В голове стоял утомительный звон. Лица крестьян сливались, кружились, плыли. Кружилось солнце над головой, небо в белых барашках. Болело все тело, ноги казались чужими, не слушались.

Савва твердил о том, что здесь собрались кулаки, что вся деревня Куваши — кулацкая, что он ненавидит всех.

Малышев рассеянно спросил:

— Так-таки всех ненавидишь?

Савва вдруг успокоился, весело рассмеялся:

— Ну, зачем же всех? Только врагов.

Он не отходил от командующего ни на шаг, все с большей тревогой следил за ним. Разведка донесла, что белобандиты заняли Кусинский завод, взорвали железнодорожный мост. Движение между Златоустом и Екатеринбургом прекратилось. Надо было восстановить связь. Иначе противник окружит весь Златоустовский фронт.

Малышев повел отряд на Кусу.

Недалеко по линии на железнодорожную будку напали белые. Восемнадцать красногвардейцев, засевшая там разведка, были убиты. Документов при них не оказалось. Лица изуродованы. На теле вырезаны пятиконечные звезды.

— Шапки долой!

— Мясники, а не воины, — сказал кто-то сквозь зубы.

Степь дымилась: ее подожгли белобандиты. Дым качался меж пологими холмами, ел глаза.

Кто-то говорил Леньке:

— Лезешь ты под самый огонь! Не сносить тебе головы.

Ленька совсем по-взрослому пошутил:

— Без тебя шагу не сделаю!

Пусть шутят люди. Шутят — значит уверены в себе.

Небо стало розовым. Близ дороги, в маленьких березовых колках, тосковали куропатки. Невысокие степные березки, одетые клейким листом, задумчиво стояли, сияя белизной коры. Пахло перегноем полыни, дикого клевера. Ветер слепил глаза, шел с шумом по чащам, весело трепал молодую травку.

— Ветер-то в ногу с нами идет, — прервал кто-то гнетущее молчание отряда.

— Не с нами, а навстречу.

— Препятствия — лучший союзник воли. Держись, как бы ветер тебя не сшиб.

Прискакал Пикунов, донес:

— Кругом бандиты. Пройти к Кусе можно болотом.

— Пройти надо, — жестко сказал Малышев и повторил: — Пройти надо.

Пикунов ускакал.

Чуть свет Малышев прошел перед рядами бойцов. Лица желтые, глаза ввалились. У многих головы, руки, ноги были упакованы в заскорузлую марлю. Он сказал просто:

— Мы сейчас смотрим смерти в глаза. Мы ее не боимся, потому что мы революционеры и отстаиваем интересы народа. Мы умели бороться, сумеем и умереть. Славные орлы! Будем отбиваться до последнего человека или постыдно сдадимся? Милость врага мы уже видели у железнодорожной будки. Решайте!

— Проскочим! Загоним их в зыбун-болото!

Сберегая силы, Малышев остановил отряды перед незащищенной лощиной, приказал командирам перейти лощину разреженной цепочкой.

На холме, в сосновом лесу, враги встретили отряды огнем «максима». Миша Луконин сел, привалился к сосне.

— Садануло? — спросил Малышев.

Миша посмотрел на командующего злыми глазами:

— Буду вот теперь сидеть, как гиря на прилавке…

Где-то в стороне, хлеща уши, сыпалась брань. Упал один боец, другой, упала медсестра.

Не приняв боя, белогвардейцы рассеялись. Отряд шел дальше. Дорога уже не текла, как расплавленная, все чаще болото преграждало ее. Наконец всюду, куда хватал взгляд, стоял рыжий камыш, торчали мохнатые кочки, поросшие яркой осокой, поблескивала ржавая ряска. Слышалась брань: у кого-то с кочки

соскользнула нога.

Отдыхали, поймавшись за камыш, и снова брели, спугивая болотных птиц. Мокрая одежда отяжелела, давила тело. Но оружие и патроны сохраняли, навьючив ими лошадей. Лошади, которых вели в поводу, все чаще останавливались, тяжело дыша.

Пошел дождь.

По пояс в воде день, ночь. Третьи сутки. Третьи сутки кипели дожди. Чавкала под ногами черная жижа. Солнце спряталось в мутной пелене. Не ели. Из фляжек высосали воду до капли.

Ленька то и дело черпал пригоршнями вонючую болотную жижу и пил.

— Смотри, парень, свалит она тебя, — предупредила его Шура Лошагина.

Малышев отметил про себя, что голос у нее стал жалобный, тихий.

Бойцы обросли щетиной, словно от мокряди она лезла, как трава. Глаза и щеки у всех ввалились. Разговоры иссякли, даже падая, бойцы не ругались: не было сил.

Девушки брели кучкой, шатаясь от усталости и голода, все чаще стояли у камыша, отдыхая.

«Перейдем ли? Выдержат ли?» — кружились в голове командующего тревожные мысли.

От взбаламученной жижи поднималась вонь, затрудняла дыхание. Падали все чаще, поднимались все труднее.

Малышева шатало. Вдалеке увиделся ему какой-то город, радостное заревное небо. Тут же видение исчезло. По лицу командира стекали капли. Он боялся совсем потерять силы, боялся за людей.

Неожиданно он запел:

Пошли девки на работу…

Голос показался ему чужим, тоненьким, как у ребенка. Кое-кто оглянулся на него с испугом и жалостью. Набирая воздух, стараясь овладеть голосом, он уже увереннее повторил слова:

Пошли девки на работу…

И изо всех сил поднял припев:

На работу, кума, на работу!

Нужно петь. Нужно петь. Только песня сейчас может спасти людей.

На работе припотели…
На работе припотели…

И стало легче идти, и люди приободрились, даже заговорили. Девушки подхватили припев:

Припотели, кума, припотели!

Послышался смешок: уж слишком большое несоответствие между словами песни и их положением.

Малышев весело продолжал:

Покупаться захотели…
Покупаться захотели…

Припев подхватили все, с присвистом, с гиканьем:

Захотели, кума, захотели!

Только Ленька не пел, схватившись за живот, он еле плелся позади всех. За ним брела Шура, что-то сердито говоря и поддерживая его за локоть.

Почувствовав под ногами твердую землю, люди тут же пали мертвым войском. Как-то сразу кончились дожди. Одинокие тяжелые капли, отрываясь с деревьев, лопались, как мыльные пузыри. И снова шли и шли, все в одном направлении — к Кусинскому заводу.

Сзади отряда на телеге везли больного Леньку.

Воздух душен. Алые облака жгучи. Куры разевали клювы, лежа в тени, раскинув крылья.

Город разбросан по отрогам. К широкому пруду стекались, трепыхаясь по каменному грунту, несколько речонок. В лесу — пестро. Берег усыпан желтыми цветами.

Склоны спокойных гор опоясывали узкие звериные тропы. Дожди часты и здесь: утонет туча меж гор и мечется, бьется неделями, поливая землю.

…Савва настаивал, чтобы комиссар после контузии лег в госпиталь. Но Иван хотел участвовать в освобождении арестованных в Кусинском заводе советских работников.

Сбили пузатый замок у сарая. Начали выводить людей. Идти самостоятельно никто не мог. Бойцы плакали от вида освобожденных. Измученные, избитые, в разорванной, окровавленной одежде, шли они из сарая, шатаясь, поддерживая друг друга.

Раненых и измученных советских работников присоединили к раненым бойцам (набралось свыше ста человек), вагон с ними прицепили к штабному вагону Дали медсестру и двадцать красноармейцев для охраны. Внесли на носилках Леньку. Еле ввели упиравшегося Мишу.

— Не поеду! Я в бой хочу!

— Надо подлечиться, Миша!

Вечером Малышев сопровождал раненых в штаб фронта, в Уржумку.

В штабном вагоне был Савва Белых и молодой рабочий завода Злоказова Потушин, красивый черноволосый парень.

— Что же нам мешает, товарищ командующий фронтом? Не можем мы сразу врагов прикончить? — допытывался Потушин.

— Прикончим. Сейчас везде создаются рабочие дружины.

— Все большевики встают под ружье, — вступил в разговор Савва.

Иван Михайлович произнес:

— Да… и это очень дисциплинирует боевые отряды. Хоть и опасно оголять заводы.

После короткого разговора с ребятами мысли командующего занимало одно.

Чудилась ему многомиллионная армия людей по всему миру, верящих в одно, идущих к одной цели, заветной цели.

«Проберутся к нам, будут среди нас и маловеры, и люди шаткие, боязливые и подленькие. От каждого шороха на земле они будут болтаться из стороны в сторону, как пустой ковыль.

Проберутся к нам и люди грубые, злоупотребляющие властью, и завистливые, которые будут вытаптывать свежее и новое, чтобы уничтожить все, что исходит не от них. И много еще будет зла на земле!

Но армия большевиков останется во веки веков, как бы ее ни дробили! Идеи большевизма не убьет никакая демагогия, никакая неправда. Россия будет страной сбывшихся мечтаний, счастья и разума!»

Так он думал. Так он верил. И за эту веру готов был на все. Есть только одна правда на земле. И эта правда — правда его родной партии.

Полночь. Парни в тамбуре тихо переговаривались, смеялись. Савва затянул:

На заре запел соловей…

Голос у него был верный и сильный, он приглушал его. Песни этой Малышев никогда не слыхал, выпрямился, прислушиваясь. Потушин вполголоса подхватил:

Рассвет вставал над землей…

Вагон сильно тряхнуло. Поезд остановился. Раздались выстрелы. Пуля, визжа, разбила окно вагона. Накинув шинель, Малышев вышел в тамбур. Опережая его, выскочил Савва. И тут же упал, раскинув руки.

От близких взрывов под ногами вздрагивала земля.

Июньские ночи светлые. В окружившей вагон толпе Иван Михайлович узнал лицо мужика из деревни Куваши с красными кроличьими глазами. Тот покусывал огромный свой кулак и скалил в улыбке зубы. Над толпой блестели топоры. Лунный свет отблескивал на рогах вил. Из вагона раненых неслись крики о помощи, стрельба, звон сабель. Там уже шла расправа.

Малышев выхватил наган, рванулся туда, но толпа бандитов сомкнулась.

— Главарь попался!

— Вот этот и есть Малышев!

— У нас он Совет создавал, всех голодранцев пригрел, — свистящий шепоток будто послужил сигналом к расправе.

Несколько выстрелов не свалили Малышева. Взрыв гранаты обжег тело.

…Мигают звезды. Шепчется лес. Кажется командующему, что Кликун-Камень развергся, исторгая из своей толщи отряды задорных людей. Они шли и шли, неся пламенеющие знамена; они пели счастливые песни.

Поднимаясь на локте, Иван закричал им:

— Люди, вперед!

notes

Примечания

1

Теперь улица Вайнера.

2

Ныне сквер по ул. К. Либкнехта.

3

Ныне ул. 8 Марта.

4

Ныне проспект Ленина.

5

Ныне улица Допризывников.

Ныне кинотеатр «Октябрь.

7

Улица Малышева.

8

Ныне колхозный рынок.

9

Ныне Дворец пионеров.

10

Ныне кинотеатр «Салют».

11

Ныне улица Челюскинцев.